ИЗРЕЧЕНИЯ И АФОРИЗМЫ Ф. НИЦШЕ

ЗЛАЯ МУДРОСТЬ

ИЗРЕЧЕНИЯ И АФОРИЗМЫ Ф. НИЦШЕ

ИЗРЕЧЕНИЯ И АФОРИЗМЫ Ф. НИЦШЕ

ЗЛАЯ МУДРОСТЬ

Москва
ЦЕНТРПОЛИГРАФ
2007

ББК 94.8
И39

Охраняется Законом РФ об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.

Оформление переплета
художника И.А. Озерова

Иллюстрации О.Л. Ядринцевой

И39 Изречения и афоризмы Ф. Ницше. Злая мудрость / Сост. Л.М. Мартьянова. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. — 301 с.

ISBN 978-5-9524-2611-5

Фридрих Вильгельм Ницше (1844—1900) — известный немецкий философ, представитель иррационализма и волюнтаризма, один из основателей «философии жизни».

В нашей книге собраны самые яркие мысли-афоризмы из его лучших произведений («По ту сторону добра и зла», «Так говорил Заратустра», «Воля власти» и т.д.), которые будут интересны мыслящему читателю, так как остаются актуальными и по сей день.

ББК 94.8

ISBN 978-5-9524-2611-5

© Художественное оформление,
ЗАО «Центрполиграф», 2007
© ЗАО «Центрполиграф», 2007

Извилист путь великих

Известный немецкий философ Фридрих Вильгельм Ницше родился 15 октября 1844 года в местечке Рёккен у Лютцена.

Предками философа были польские дворяне Ницки. Отец, Карл Людвиг Ницше, был приходским священником, он получил церковный приход от прусского короля Фридриха Вильгельма IV. Своим именем философ обязан глубокому благоговению отца перед королем.

К сожалению, семья рано потеряла кормильца — он умер в возрасте тридцати шести лет, — когда Фридриху не было и пяти лет. Как и отец, Фридрих был слаб здоровьем, и на всем его физическом состоянии лежал след уходящей жизни. Стремление преодолеть недуг вылилось в духовную активность, в желание жить полнокровной, многогранной жизнью. Он серьезно увлекается музыкой, даже сочиняет ее. Проявляется его поэтическая одаренность. В десять лет он серьезно размышляет о композициях Гайдна, Моцарта, Бетховена, Мендельсона. Музыка осталась с ним на всю жизнь. Музыка озаряла его философские мысли и поэзию.

Позднее, увлекаясь теологией и филологией, Ницше отдает предпочтение филологии, он занимался в Лейпцигском университете в семинарах профессора Ф.В. Ричля.

В двадцать два года Ницше был сотрудником «Центральной литературной газеты».

Позднее он стал профессором классической филологии Базельского университета.

Из-под его пера выходят сочинения, написанные в жанре философско-художественной прозы, стихи.

«Рождение трагедии из духа музыки» — первая опубликованная книга Ницше. Потом будут «Сумерки кумиров», «Человеческое, слишком человеческое», «Веселая наука», «Утренняя заря», «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Генеалогия морали» и другие.

В России познакомились с творчеством Фридриха Ницше, когда уже вышли его основные произведения. Мысли Ницше опережали развитие общества. При жизни он с трудом находил издателей для своих книг. Лишь одинокие голоса поддерживали его. Но время шло, и многие находили духовную близость с ним.

После смерти Ницше в 1900 году были опубликованы его письма, в которых можно прочитать о «русских интересах» философа.

Европейские критики тех лет нередко упоминали о близости творчества Ницше к русской культуре, в частности, к произведениям Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого.

Так или иначе, но истинно русской культуре, как и творчеству Ницше, присущи легкая меланхолия, безыскусная тоска, мечтательность. «Философия жизни» пронизывает все творчество этого яркого представителя немецкой культуры.

В этой книге собраны самые ценные зерна мыслей Фридриха Ницше.

Л.М. Мартьянова

СЕРДЦЕ ЗДЕСЬ МУЖЧИНА, А ГОЛОВА — ЖЕНЩИНА

Я хочу учить людей смыслу их бытия: этот смысл есть сверхчеловек, молния из темной тучи, называемой человеком.

Человек есть нечто, что должно превзойти.

Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком,— канат над пропастью.

Все в женщине — загадка, и все в женщине имеет одну разгадку: она называется беременностью.

Двух вещей хочет настоящий мужчина: опасности и игры. Поэтому хочет он женщины как самой опасной игрушки.

Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина — для отдохновения воина; все остальное — глупость.

Слишком сладких плодов не любит воин. Поэтому любит он женщину; в самой сладкой женщине есть еще горькое.

Лучше мужчины понимает женщина детей, но мужчина больше ребенок, чем женщина.

Пусть в вашей любви будет ваша честь! Вообще женщина мало понимает в чести. Но пусть будет ваша честь в том, чтобы всегда больше любить, чем быть

любимой, и никогда не быть второй.

Пусть мужчина боится женщины, когда она любит: ибо она приносит любую жертву и всякая другая вещь не имеет для нее цены.

Пусть мужчина боится женщины, когда она ненавидит: ибо мужчина в глубине души только зол, а женщина еще дурна.

Счастье мужчины называется: я хочу. Счастье женщины называется: он хочет.

И повиноваться должна женщина, и найти глубину к своей поверхности. Поверхность — душа женщины,

подвижная, бурливая пленка на мелкой воде.

Но душа мужчины глубока, ее бурный поток шумит в подземных пещерах; женщина чует его силу, но не понимает ее.

Не только вширь должен ты расти, но и ввысь! Да поможет тебе в этом сад супружества!

Люди не равны.

Женщина научается ненавидеть в той мере, в какой она разучивается очаровывать.

Одинаковые аффекты у мужчины и женщины все-

таки различны в темпе — поэтому-то мужчина и женщина не перестают не понимать друг друга.

У самих женщин в глубине их личного тщеславия всегда лежит безличное презрение — презрение «к женщине».

Стать зрелым мужем — это значит снова обрести ту серьезность, которою обладал в детстве, во время игр.

Огромные ожидания от половой любви и стыд этих ожиданий заранее портят женщинам все перспективы.

Там, где не подыгрывает любовь или ненависть,

женщина играет посредственно.

Даже конкубинат развращен — браком.

Наука уязвляет стыдливость всех настоящих женщин. При этом они чувствуют себя так, точно им заглянули под кожу или, что еще хуже, под платье и убор.

Оба пола обманываются друг в друге — от этого происходит то, что, в сущности, они чтут и любят только самих себя (или, если угодно, свой собственный идеал). Таким образом, мужчина хочет от женщины миролюбия,— а между тем женщина *по существу* своему как раз неужив-

У самих женщин в глубине их личного тщеславия всегда лежит безличное презрение — презрение «к женщине».

чива, подобно кошке, как бы хорошо она ни выучилась выглядеть миролюбивой.

В мщении и любви женщина более варвар, чем мужчина.

Если женщина обнаруживает научные склонности, то обыкновенно в ее половой системе что-нибудь да не в порядке. Уже бесплодие располагает к известной мужественности вкуса; мужчина же, с позволения сказать, как раз «бесплодное животное».

Сравнивая в целом мужчину и женщину, можно сказать следующее: женщина не была бы так гениальна в искусстве наряжаться, если бы

не чувствовала инстинктивно, что ее удел — *вторые* роли.

Соблазнить ближнего на хорошее о ней мнение и затем всей душой поверить этому мнению ближнего, — кто сравнится в этом фокусе с женщинами!

И истина требует, подобно всем женщинам, чтобы ее любовник стал ради нее лгуном,— но не тщеславие ее требует этого, а ее жестокость.

Нечто схожее с отношением обоих полов друг к другу есть и в отдельном человеке, именно, отношение воли и интеллекта (или, как гово-

рят, сердца и головы) — это суть мужчина и женщина; между ними дело идет всегда о любви, зачатии, беременности. И заметьте хорошенько: *сердце* здесь мужчина, а *голова* — женщина!

«Не существует человека, ибо не существовало первого человека!» — так заключают животные.

Что «глупая женщина с добрым сердцем стоит высоко над гением», это звучит весьма учтиво — в устах гения. Это его любезность,— но это и его смышленость.

Женщина и гений не трудятся. Женщина была до сих пор величайшей роскошью

человечества. Каждый раз, когда мы *делаем* все, что в наших силах, мы не трудимся. Труд — лишь средство, приводящее к этим мгновениям.

Женщины гораздо более чувственны, чем мужчины,— именно потому, что они далеко не с такой силой осознают чувственность как таковую, как это присуще мужчинам.

Для всех женщин, которым обычай и стыд воспрещают удовлетворение полового влечения, религия, как духовное расцепление эротической потребности, оказывается чем-то незаменимым.

Потребности сердца. Животные во время течки не с такой легкостью путают свое сердце и свои вожделения, как это делают люди и особенно бабенки.

Если женщина нападает на мужчину, то оттого лишь, чтобы защититься от женщины. Если мужчина заключает с женщиной дружбу, то ей кажется, что он делает это оттого, что не в состоянии добиться большего.

Наш век охоч до того, чтобы приписывать умнейшим мужам вкус к незрелым, скудоумным и покорным простушкам, вкус Фауста к Гретхен; это свидетельствует против вкуса самого

столетия и его умнейших мужей.

У многих женщин, как у медиумических натур, интеллект проявляется лишь внезапно и толчками, притом с неожиданной силой: дух веет тогда «над ними», а не из них, как кажется. Отсюда их трехглазая смышленость в путаных вещах,— отсюда же их вера в наитие.

Женщин лишает детскости то, что они постоянно возятся с детьми, как их воспитатели.

Достаточно скверно! Время брака наступает гораздо раньше, чем время любви: понимая под последним сви-

детельство зрелости — у мужчины и женщины.

Возвышенная и честная форма половой жизни, форма страсти, обладает нынче *нечистой* совестью. А пошлейшая и бесчестнейшая — *чистой* совестью.

Брак — это наиболее изолганная форма половой жизни, и как раз поэтому на его стороне чистая совесть.

Брак может оказаться впору таким людям, которые не способны ни на любовь, ни на дружбу и охотно стараются ввести себя и других в заблуждение относительно этого недостатка,— которые,

не имея никакого опыта ни в любви, ни в дружбе, не могут быть разочарованы и самим браком.

Брак выдуман для посредственных людей, которые бездарны как в большой любви, так и в большой дружбе,— стало быть, для большинства: но и для тех вполне редкостных людей, которые способны как на любовь, так и на дружбу.

Кто не способен ни на любовь, ни на дружбу, тот вернее всего делает свою ставку — на брак.

Кто сильно *страдает*, тому *завидует* дьявол и выдворяет его — на небо.

Лишь в зрелом муже становится *характерный признак семьи* вполне очевидным; меньше всего в легко возбудимых, импульсивных юношах. Прежде должна наступить тишина, а *количество* влияний, идущих извне, сократиться; или, с другой стороны, должна значительно ослабеть *импульсивность.*— Так, *стареющим* народам свойственна словоохотливость по части *характерных для них свойств,* и они отчетливее обнаруживают эти свойства, чем в пору своего *юношеского цветения.*

Этой паре присущ, по сути дела, одинаковый дурной вкус: но один из них тщится убедить себя и нас в

том, что вкус этот — верх изысканности. Другой же стыдится своего вкуса и хочет убедить себя и нас в том, что ему присущ иной и более изысканный — наш вкус. К одному из этих двух типов относятся все филистеры образования.

Он называет это верностью своей партии, но это лишь его комфорт, позволяющий ему не вставать больше с этой постели.

Счастье бегает за мной. Это потому, что я не женщина. А счастье — женщина.

Только тот, кто достаточно мужчина, *освободит* в женщине — *женщину.*

Плохих супругов находил я всегда самыми мстительными: они мстят целому миру за то, что уже не могут идти каждый отдельно.

Омрачение, пессимистическая окраска — неизбежные спутники просвещения... Женщины полагали, со свойственным женщине инстинктом, всегда становящимся на сторону добродетели, что виною тому безнравственность.

Естественнее стало наше высшее *общество* — общество богатых, праздных: люди охотятся друг на друга, половая любовь — род спорта, в котором брак играет роль препятствия и

приманки; развлекаются и живут ради удовольствия; на первом месте ценят телесные преимущества; развито любопытство и смелость.

Великое светило! К чему свелось бы твое счастье, если б не было у тебя тех, кому ты светишь!

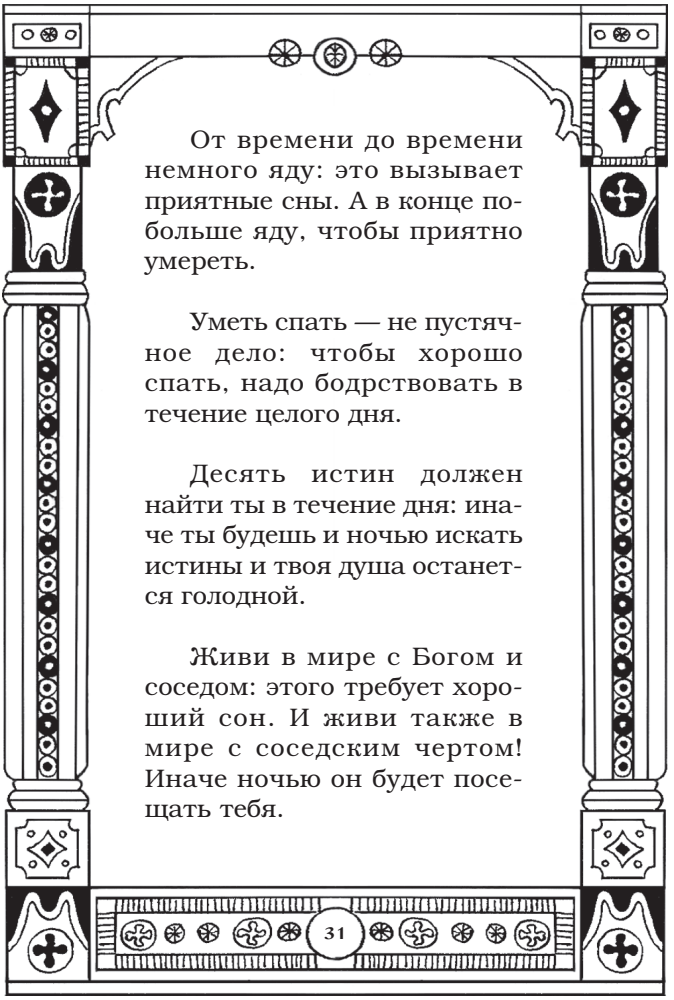
Только как символ высшей добродетели достигло золото высшей ценности. Как золото, светится взор у дарящего. Блеск золота заключает мир между луною и солнцем.

Властью является эта новая добродетель; господству-

ющей мыслью является она и вокруг нее мудрая душа: золотое солнце и вокруг него змея познания.

ЖИВИТЕ,

ВОЮЯ С РАВНЫМИ



От времени до времени немного яду: это вызывает приятные сны. А в конце побольше яду, чтобы приятно умереть.

Уметь спать — не пустячное дело: чтобы хорошо спать, надо бодрствовать в течение целого дня.

Десять истин должен найти ты в течение дня: иначе ты будешь и ночью искать истины и твоя душа останется голодной.

Живи в мире с Богом и соседом: этого требует хороший сон. И живи также в мире с соседским чертом! Иначе ночью он будет посещать тебя.

Этот мир, вечно несовершенный, отражение вечного противоречия и несовершенный образ — опьяняющая радость для его несовершенного Творца,— таким казался мне некогда мир.

Лучше слушайтесь, братья мои, голоса здорового тела: это — более правдивый и чистый голос.

Нет спасения для того, кто так страдает от себя самого,— кроме быстрой смерти.

Глупец тот, кто остается жить, и мы настолько же глупы. Это и есть самое глупое в жизни!

Если бы вы больше верили в жизнь, вы бы меньше отдавались мгновению.

Да, изобретена была смерть для многих, но она прославляет самое себя как жизнь: поистине, сердечная услуга всем проповедникам смерти!

Где кончается уединение, там начинается базар; и где начинается базар, начинается и шум великих комедиантов, и жужжанье ядовитых мух.

В городах трудно жить: там слишком много похотливых людей.

Маленькое мщение более человечно, чем отсутствие всякой мести.

И каждый желающий славы должен уметь вовремя

проститься с почестью и знать трудное искусство — уйти вовремя.

У одних сперва стареет сердце, у других — ум. Иные бывают стариками в юности; но кто поздно юн, тот надолго юн.

Иному не удается жизнь: ядовитый червь гложет ему сердце. Пусть же постарается он, чтобы тем лучше удалась ему смерть.

Живут слишком многие, и слишком долго висят они на своих сучьях. Пусть же придет буря и стряхнет с дерева все гнилое и червивое!

Но зрелый муж больше ребенок, чем юноша, и мень-

ше скорби в нем: лучше понимает он смерть и жизнь.

В вашей смерти должны еще гореть ваш дух и ваша добродетель, как вечерняя заря горит на земле, — или смерть плохо удалась вам.

Поистине, местом выздоровления должна еще стать земля! И уже веет вокруг нее новым благоуханием, приносящим исцеление,— и новой надеждой!

Великий полдень — когда человек стоит посреди своего пути между животным и сверхчеловеком и празднует свой путь к закату как свою высшую надежду: ибо это есть путь к новому утру.

Созидать — это великое избавление от страдания и облегчение жизни. Но чтобы быть созидающим, надо подвергнуться страданиям и многим превращениям.

Большие одолжения порождают не благодарных, а мстительных; и если маленькое благодеяние не забывается, оно обращается в гложущего червя.

Но мелкая мысль похожа на грибок: он и ползет, и прячется, и нигде не хочет быть, пока все тело не будет вялым и дряблым от маленьких грибков.

И когда я с глазу на глаз говорил со своей дикой мудро-

стью, она сказала мне с гневом: «Ты желаешь, ты жаждешь, ты любишь, потому только ты и *хвалишь* жизнь!»

Тому повелевают, кто не может повиноваться самому себе. Таково свойство всего живого.

И как меньший отдает себя большему, чтобы тот радовался и власть имел над меньшим, — так приносит себя в жертву и больший и из-за власти ставит на доску — жизнь свою.

Привлекательность познания была бы ничтожна, если бы на пути к нему не приходилось преодолевать столько стыда.

Мы плохо всматриваемся в жизнь, если не замечаем в ней той руки, которая щадя — убивает.

В мирной обстановке воинственный человек нападает на самого себя.

Ужасные переживания жизни дают возможность разгадать, не представляет ли собою нечто ужасное тот, кто их переживает.

Такой холодный, такой ледяной, что об него обжигают пальцы! Всякая рука содрогается, прикоснувшись к нему! — Именно поэтому его считают раскаленным.

В снисходительности нет и следа человеконенавистни-

чества, но именно потому-то слишком много презрения к людям.

Опасность счастья: «Все служит на благо мне; теперь мила мне всякая судьба — кому охота быть судьбой моей?»

Вращаясь среди ученых и художников, очень легко ошибиться в обратном направлении: нередко в замечательном ученом мы находим посредственного человека, а в посредственном художнике очень часто — чрезвычайно замечательного человека.

Мы поступаем наяву так же, как и во сне: мы сначала

выдумываем и сочиняем себе человека, с которым вступаем в общение,— и сейчас же забываем об этом.

Нашему тщеславию хочется, чтобы то, что мы делаем лучше всего, считалось самым трудным для нас. К происхождению многих видов морали.

Мысль о самоубийстве — сильное утешительное средство: с ней благополучно переживаются иные мрачные ночи.

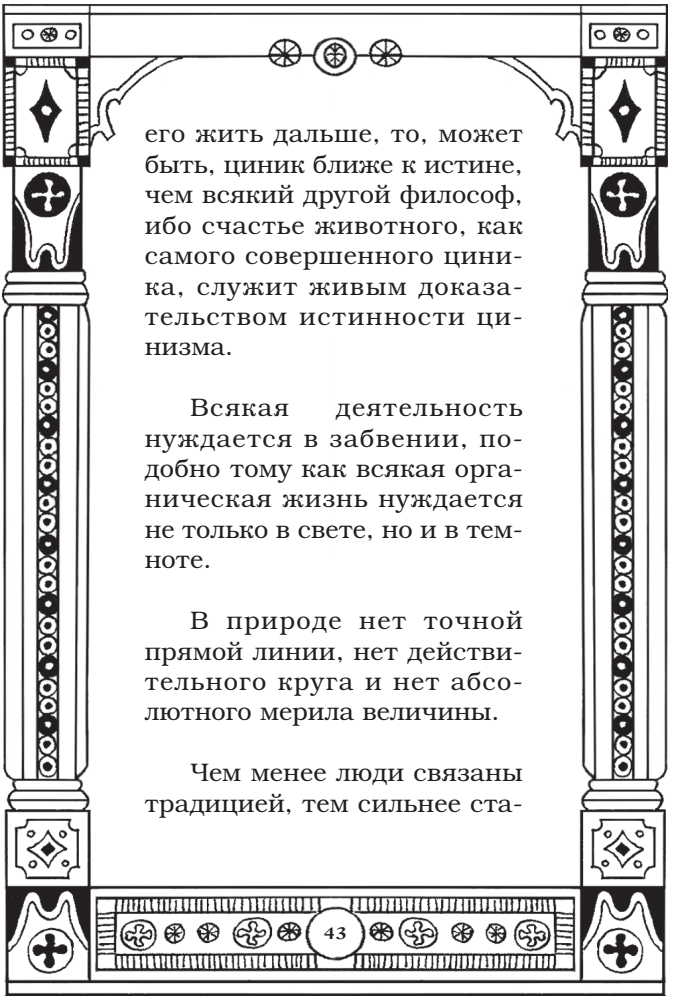
Взглянуть на науку под углом зрения художника, на искусство же — под углом зрения жизни.

Уметь спать — не пустячное дело: чтобы хорошо спать, надо бодрствовать в течение целого дня.

Человек удивляется также и самому себе, тому, что он не может научиться забвению и что он навсегда прикован к прошлому; как бы далеко и как бы быстро он ни бежал, цепь бежит вместе с ним.

Не чудо ли, что мгновение, которое столь же быстролетно появляется, как и исчезает, которое возникает из ничего и превращается в ничто, что это мгновение тем не менее возвращается снова, как призрак, и нарушает покой другого.

Если счастье, если погоня за новым счастьем в каком бы то ни было смысле есть то, что привязывает живущего к жизни и побуждает



его жить дальше, то, может быть, циник ближе к истине, чем всякий другой философ, ибо счастье животного, как самого совершенного цинника, служит живым доказательством истинности цинизма.

Всякая деятельность нуждается в забвении, подобно тому как всякая органическая жизнь нуждается не только в свете, но и в темноте.

В природе нет точной прямой линии, нет действительного круга и нет абсолютного мерила величины.

Чем менее люди связаны традицией, тем сильнее ста-

новится внутреннее движение мотивов, и тем больше соответственно тому становится в свою очередь внешнее беспокойство, взаимное столкновение людских течений, полифония стремлений.

Заблуждение о жизни необходимо для жизни.

Всякая вера в ценность и достоинство жизни основана на нечистом мышлении; она возможна только потому, что сочувствие к общей жизни и страданиям человечества весьма слабо развито в личности. Даже те редкие люди, мысль которых вообще выходит за пределы их собственной личности, усматривают не эту всеобщую жизнь, а

только ограниченные части последней.

Если уметь обращать взор преимущественно на исключения — я хочу сказать, на высокие дарования и богатые души,— если их возникновение считать целью мирового развития и наслаждаться их деятельностью, то можно верить в ценность жизни именно потому, что при этом *упускаешь из виду* других людей, т. е. мыслишь нечисто.

Огромное большинство людей как раз выносит жизнь без особого ропота и, следовательно, *верит* в ценность жизни — и притом именно потому, что каждый

ищет и утверждает только себя самого и не выходит за пределы себя, как упомянутые исключения: все внеличное для них совсем незаметно или в крайнем случае заметно лишь как бледная тень.

Вся человеческая жизнь глубоко погружена в неправду; отдельный человек не может извлечь ее из этого колодца, не возненавидя при этом из глубины души своего прошлого, не признавая нелепыми свои нынешние мотивы вроде мотива чести и не встречая насмешкой и презрением тех страстей, которые проталкивают его к будущему и к счастью в будущем.

Существует право, по которому мы можем отнять у человека жизнь, но нет права, по которому мы могли бы отнять у него смерть.

Первым признаком, что зверь стал человеком, является то, что его действия направлены уже не на благополучие данного мгновения, а на длительное благосостояние, т. е. человек становится *полезным, целесообразным:* тут впервые прорывается наружу свободное господство разума.

Еще живу я, еще мыслю я: я должен еще жить, ибо я должен еще мыслить.

Я хочу все больше учиться смотреть на необходимое

в вещах, как на прекрасное: так буду я одним из тех, кто делает вещи прекрасными.

Есть определенная высшая точка жизни: достигнув ее и насильственно отспорив у прекрасного хаоса существования всякий заботливый разум и доброту, мы со всей нашей свободой подвергаемся вновь величайшей опасности духовной несвободы и тягчайшему испытанию нашей жизни.

Решительно все вещи, которые нас касаются, то и дело *идут нам во благо.* Жизнь ежедневно и ежечасно словно бы и не желает ничего иного, как всякий раз наново доказывать это положение: о чем

бы ни шла речь — о дурной или хорошей погоде, потере друга, болезни, клевете, задержке письма, вывихе ноги, посещении торговой лавки, контраргументе, раскрытой книге, сне, обмане,— все это оказывается тотчас же или в самом скором времени чем-то, чего «не могло не быть»,— все это исполнено глубокого смысла и пользы именно *для нас.*

Каждый хочет быть первым в этом будущем,— и все же только смерть и гробовая тишина есть общее для всех и единственно достоверное в нем!

Мне доставляет счастье — видеть, что люди совсем не желают думать о смерти! Я

бы охотно добавил что-нибудь к этому, чтобы сделать им мысль о жизни еще во сто крат *достойнее размышления.*

Однажды — и, должно быть, скоро — придется осознать, чего главным образом недостает нашим большим городам: тихих и отдаленных, просторных мест для размышления.

Живите, воюя с равными вам и с самими собой.

Смерть достаточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни.

Я должен быть ангелом, если только я хочу жить: вы же живете в других условиях.

Что же поддерживало меня? Всегда лишь беременность. И всякий раз с появлением на свет творения жизнь моя повисала на волоске.

Заблистать через триста лет — моя жажда славы.

Жизнь ради познания есть, пожалуй, нечто безумное; и все же она есть признак веселого настроения. Человек, одержимый этой волей, выглядит столь же потешным образом, как слон, силящийся *стоять* на голове.

Кто в состоянии сильно ощутить взгляд мыслителя, тот не может отделаться от ужасного впечатления, кото-

рое производят животные, чей глаз медленно, как бы на стержне, *вытаращивается* из головы и оглядывается вокруг.

Он одинок и лишен всего, кроме своих мыслей; что удивительного в том, что он часто нежится и лукавит с ними и дергает их за уши! — А вы, грубияны, говорите — он *скептик.*

Во всякой морали дело идет о том, чтобы *открывать* либо *искать высшие состояния жизни,* где *разъятые* доселе способности могли бы соединиться.

Иное существование лишено смысла, разве что оно

заставляет нас забыть другое существование. И есть также опийные поступки.

Наши самоубийцы дискредитируют самоубийство — не наоборот.

Мы должны быть столь же жестокими, сколь и сострадательными: остережемся быть более бедными, чем сама природа!

Давать каждому свое — это значило бы: желать справедливости и достигать хаоса.

Сначала приспособление к творению, затем приспособление к его Творцу, говорившему только символами.

Отнюдь не самым желательным является умение переваривать все, что создало прошлое: так, я желал бы, чтобы *Данте* в корне противоречил нашему вкусу и желудку.

Величайшие трагические мотивы остались до сих пор неиспользованными: ибо что знает какой-нибудь поэт о сотне трагедий совести?

«Герой радостен» — это ускользало до сих пор от сочинителей трагедий.

Стиль должен всякий раз быть соразмерным *тебе* относительно вполне определенной личности, которой ты хочешь довериться. (Закон *двойного соотношения.)*

Богатство жизни выдает себя через *богатство жестов.* Нужно *учиться* ощущать всё — длину и краткость предложения, пунктуацию, выбор слов, паузы, последовательность аргументов — как жесты.

Осторожно с периодами! Право на периоды дано лишь тем людям, которым и в речи свойственно долгое дыхание. Для большинства период — это вычурность.

Испытываешь ужас при мысли о том, что внезапно испытываешь ужас.

Помимо нашей способности к суждениям мы обладаем еще и нашим *мнением*

о нашей способности судить.

Ты хочешь, чтобы тебя оценивали по твоим замыслам, а не по твоим действиям? Но откуда же у тебя твои замыслы? Из твоих действий!

Мы начинаем подражателями и кончаем тем, что подражаем себе,— это есть последнее детство.

«Я оправдываю, ибо и я поступил бы так же» — историческое образование. Мне страшно! Это значит: «я терплю самого себя — раз так!»

Если что-то не удается, нужно вдвое оплачивать помощь своему помощнику.

Наше внезапно возникающее отвращение к самим себе может в равной степени быть результатом как утонченного вкуса,— так и испорченного вкуса.

Всякое сильное ожидание переживает свое исполнение, если последнее наступает раньше, чем его ожидали.

Для очень одинокого и шум оказывается утешением.

Одиночество придает нам большую черствость по отношению к самим себе и большую ностальгию по людям: в обоих случаях оно улучшает характер.

Иной находит свое сердце не раньше, чем он теряет свою голову.

Есть черствость, которой хотелось бы, чтобы ее понимали как силу.

Человек никогда не имеет, ибо человек никогда не *есть*. Человек всегда приобретает или теряет.

Доподлинно знать, что именно причиняет нам боль и с какой легкостью некто причиняет нам боль, и, зная это, как бы наперед предуказывать своей мысли безболезненный для нее путь — к этому и сводится все у многих любезных людей: они доставляют радость и вынуж-

дают других излучать радость,— так как их очень *страшит боль;* это называют «чуткостью».— Кто по черствости характера привык рубить сплеча, тому нет нужды ставить себя таким образом на место другого, и зачастую он причиняет ему *боль:* он и *понятия не имеет* об этой легкой одаренности на боль.

Можно так сродниться с кем-нибудь, что видишь его во сне делающим и претерпевающим все то, что он делает и претерпевает наяву,— настолько сам ты смог бы сделать и претерпеть это.

«Лучше лежать в постели и чувствовать себя больным, чем *быть вынужденным де-*

лать что-то» — по этому негласному правилу живут все самоистязатели.

Человек придает поступку ценность, но как удалось бы поступку придать ценность человеку!

Я хочу знать, есть ли ты *творческий* или *переделывающий* человек, в каком-либо отношении: как творческий, ты принадлежишь к свободным, как переделывающий, ты — их раб и орудие.

Мы хвалим то, что приходится нам по вкусу: это значит, когда мы хвалим, мы хвалим собственный вкус — не грешит ли это против всякого хорошего вкуса?

Незаурядный человек познает в несчастье, сколь ничтожно все достоинство и порядочность осуждающих его людей. Они лопаются, когда оскорбляют их тщеславие,— нестерпимая, ограниченная скотина предстает взору.

Из своего озлобления к какому-то человеку стряпаешь себе моральное негодование — и любуешься собою после; а из пресыщения ненавистью — прощение — и снова любуешься собою.

Дюринг, верхогляд, повсюду ищет коррупцию,— я же ощущаю другую опасность эпохи: великую посредственность — никогда еще не

было такого количества *честности* и *благонравия.*

«Наказание» — именно так называет само себя мщение: с помощью лживого слова оно притворяется чистой совестью.

Чтобы приятно было смотреть на жизнь, надо, чтобы ее игра хорошо была сыграна, — но для этого нужны хорошие актеры.

И какова бы ни была моя судьба, то, что придется мне пережить,— всегда будет в ней странствование и восхождение на горы: в конце концов мы переживаем только самих себя.

Чтобы видеть *многое*, надо научиться не смотреть на *себя*: эта суровость необходима каждому, кто восходит на горы.

Чего не отдал бы я, чтобы иметь одно: живое насаждение моих мыслей и утренний рассвет моей высшей надежды!

Кто не может благословлять, должен научиться проклинать!

Преодолей самого себя даже в своем ближнем: и право, которое ты можешь завоевать себе, ты не должен позволять дать тебе!

Кто не может повелевать себе, должен повиноваться.

Иные же *могут* повелевать себе, но им недостает еще многого, чтобы уметь повиноваться себе!

Так хочет этого характер душ благородных: они ничего не желают иметь *даром,* всего менее жизнь.

Совестливость духа моего требует от меня, чтобы знал я что-нибудь *одно* и остальное не знал: мне противны все половинчатые духом, все туманные, порхающие и мечтательные.

Дух есть жизнь, которая сама врезается в жизнь.

Даже королю не зазорно быть поваром.

Нет для меня сегодня ничего более драгоценного и более редкого, чем правдивость.

В уединении растет то, что каждый вносит в него, даже внутренняя скотина. Поэтому отговариваю я многих от одиночества.

Окружайте себя маленькими, хорошими, совершенными вещами, о высшие люди! Их золотая зрелость исцеляет сердце. Все совершенное учит надеяться.

Но лучше быть дурашливым от счастья, чем дурашливым от несчастья, лучше неуклюже танцевать, чем ходить, хромая.

Страх — наследственное, основное чувство человека; страхом объясняется все, наследственный грех и наследственная добродетель. Из страха выросла и *моя* добродетель, она называется: наука.

Пустыня ширится
сама собою: горе
Тому, кто сам в себе
свою пустыню носит.

Все, что страдает, хочет жить, чтобы стать зрелым, радостным и полным желаний.

Радость же не хочет ни наследников, ни детей,— радость хочет себя самое, хочет вечности, хочет возвращения, хочет, чтобы все было вечным.

При всей ценности, какая может подобать истинному, правдивому, бескорыстному, все же возможно, что иллюзии, воле к обману, своекорыстию и вожделению должна быть приписана более высокая и более неоспоримая ценность для всей жизни.

Позади всей логики, кажущейся самодержавной в своем движении, стоят расценки ценностей, точнее говоря, физиологические требования, направленные на поддержание определенного жизненного вида.

Ложность суждения еще не служит для нас возражением против суждения; это, быть может, самый странный из наших парадоксов.

Тело гибнет, когда *поражен* какой-либо орган.

Оценка, с которой в настоящее время подходят к различным формам общества, во всех отношениях сходна с той, по которой *миру* придается большая ценность, чем войне; но это суждение антибиологично, оно само порождение декаданса жизни... *Жизнь есть результат войны, само общество — средство для войны...*

Если бы страдающий, угнетенный человек *потерял веру* в свое *право* презирать волю к власти — он вступил бы в полосу самого безнадежного отчаяния.

Жизнь не имеет иных ценностей, кроме степени власти — если мы предположим, что сама жизнь есть воля к власти.

Уже самое преодоление морали предполагает довольно высокий уровень духовной культуры; а она в свою очередь предполагает относительное благополучие.

Что наука возможна, в том смысле, как она процветает ныне, это — доказательство того, что все элементарные инстинкты,— инстинкты *самозащиты* и *самоограждения* более не действуют в жизни. Мы больше не собираем, мы расточаем то, что накоплено нашими предка-

ми,— и это верно даже в отношении к тому способу, каким мы *познаем.*

Какой ценностью обладают сами наши оценки и таблицы моральных благ? *Каковы последствия их господства?* Для кого? В отношении чего? Ответ: для жизни. Но *что такое жизнь?* Значит, тут необходимо новое, более ясное определение понятия «жизнь». Моя формула этого понятия гласит: жизнь — это воля к власти.

Кто создаст *цель,* которая будет непоколебимо стоять перед человечеством, а также и перед отдельным индивидом? Когда-то хотели *сохранять* с помощью морали,

но теперь никто не хочет более *сохранять*, тут нечего сохранять. Итак, *мораль ищущая: создать* себе цель.

Проблема «ты должен»: влечение, которое, подобно половому влечению, не в состоянии обосновать само себя; оно *не* должно подпадать под действие осуждения, выпадающего на долю других инстинктов; наоборот, оно должно служить масштабом их ценности и быть их судьей!

Мы необузданы в наших желаниях, бывают минуты, когда мы готовы пожрать друг друга.. Но «чувство общности» одерживает верх над нами: заметьте же себе это,— это почти определение нравственности.

Если поступок не поддается оценке ни по его происхождению, ни по его следствиям, ни по сопровождающим его явлениям, то его ценность есть я, неизвестное...

Неправильное воззрение на страсти и *разум*, как будто последний есть существо по себе, а не скорее относительное состояние различных страстей и желаний; и как будто всякая страсть не заключала в себе своей доли разума.

Чтобы иметь правильное представление о морали, мы должны поставить на ее место два *зоологических* понятия: *приручение* животного и *разведение известного вида.*

Я ЖАЖДАЛ ЛЮДЕЙ

Будьте такими, чей взор всегда ищет врага — *своего* врага. И у некоторых из вас сквозит ненависть с первого взгляда.

Враги у вас должны быть только такие, которых бы вы ненавидели, а не такие, чтобы их презирать. Надо, чтобы вы гордились своим врагом; тогда успехи вашего врага будут и вашими успехами.

Остерегайся же маленьких людей! Перед тобою чувствуют они себя маленькими, и их низость тлеет и разгорается против тебя в невидимое мщение.

Иной не может избавиться от своих собственных це-

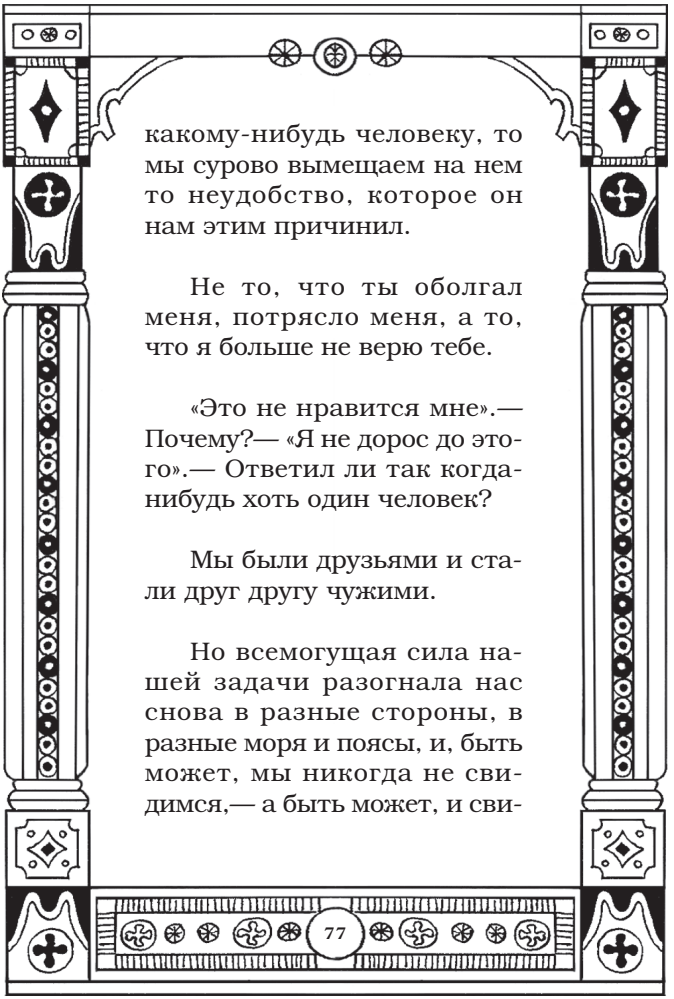
пей, но является избавителем для друга.

Но самым опасным врагом, которого ты можешь встретить, будешь всегда ты сам; ты сам подстерегаешь себя в пещерах и лесах.

Человек познания должен не только любить своих врагов, но уметь ненавидеть даже своих друзей.

И если друг делает тебе что-нибудь дурное, говори ему: «Я прощаю тебе, что ты мне сделал; но если бы ты сделал это себе,— как мог бы я это простить!»

Если нам приходится переучиваться по отношению к



какому-нибудь человеку, то мы сурово вымещаем на нем то неудобство, которое он нам этим причинил.

Не то, что ты оболгал меня, потрясло меня, а то, что я больше не верю тебе.

«Это не нравится мне».— Почему?— «Я не дорос до этого».— Ответил ли так когда-нибудь хоть один человек?

Мы были друзьями и стали друг другу чужими.

Но всемогущая сила нашей задачи разогнала нас снова в разные стороны, в разные моря и поясы, и, быть может, мы никогда не свидимся,— а быть может, и сви-

димся, но уже не узнаем друг друга: разные моря и солнца изменили нас! Что мы должны были стать чужими друг другу, этого требовал закон, царящий *над* нами: именно поэтому должны мы также и больше уважать друг друга! Именно поэтому мысль о нашей былой дружбе должна стать еще более священной!

Мне никогда не бывает в полной мере хорошо с людьми. Я смеюсь всякий раз над врагом раньше, чем ему приходится заглаживать свою вину передо мной. Но я мог бы легко совершить убийство в состоянии аффекта.

Лишь теперь я одинок: я жаждал людей, я домогался

людей — я находил всегда лишь *себя самого* — и больше не жажду себя.

Я различаю среди философствующих два сорта людей: одни всегда размышляют о своей защите, другие — о нападении на своих врагов.

Кто, будучи поэтом, хочет платить наличными, тому придется платить *собственными* переживаниями: оттого именно не выносит поэт своих ближайших друзей в роли толкователей — они разгадывают, отгадывая *вспять.* Им следовало бы восхищаться тем, *куда* приходит некто путями своих страданий,— им следовало бы

учиться смотреть вперед и вверх, а не назад и вниз.

Лабиринтный человек никогда не ищет истины, но всегда лишь Ариадну, — что бы ни говорил нам об этом он сам.

После опьянения победой всегда появляется чувство большой утраты: наш враг, *наш* враг мертв! Даже потерю друга оплакиваем мы не столь глубоко — и оттого громче!

Берегись его: он говорит лишь для того, чтобы затем получить право слушать,— ты же, собственно, слушаешь лишь оттого, что неуместно всегда говорить, и это зна-

чит: ты слушаешь плохо, а он только и умеет что слушать.

У нас есть что сказать друг другу: и как хорошо нам спорить — ты влеком страстями, я полон оснований.

Он поступил со мной несправедливо — это скверно. Но что он хочет теперь выпросить у меня прощения за свою несправедливость, это уже по части вылезания-из-кожи-вон!

После разлада. «Пусть говорят мне что угодно, чтобы причинить мне боль; слишком мало знают меня, чтобы быть в курсе, что больше всего причиняет мне боль».

Ядовитейшие стрелы посылаются вслед за тем, кто отделывается от своего друга, не оскорбляя его даже.

Поверхностные люди должны всегда лгать, так как они лишены содержания.

К этому человеку прилган не его внешний вид, но его внутренний мир; он ничуть не хочет казаться мнимым и плоским, — каковым он все-таки является.

Противоположностью актера является не честный человек, но исподтишка прилгавшийся человек (именно из них выходят большинство актеров).

Актеры, не сознающие своего актерства, производят впечатление настоящих алмазов и даже превосходят их — блеском.

Актерам некогда дожидаться справедливости: и часто я рассматриваю нетерпеливых людей с этой точки зрения — не актеры ли они.

Хваля, хвалишь всегда самого себя: порицая, порицаешь всегда другого.

Ты говоришь: «Мне нравится это» — и мнишь, что тем самым хвалишь меня. Но *мне* не нравишься ты!

В каждом сношении людей речь идет только о беременности.

Кто не оплодотворяет нас, делается нам явно безразличным. Но тот, кого оплодотворяем *мы*, отнюдь не становится тем самым для нас любимым.

Со всем своим знанием других людей не выходишь из самого себя, а все больше входишь в себя.

Мы более искренни по отношению к другим, чем по отношению к самим себе.

Когда сто человек стоят друг возле друга, каждый теряет свой рассудок и получает какой-то другой.

Собака оплачивает хорошее расположение к себе покорностью. Кошка наслажда-

ется при этом собою и испытывает сладострастное чувство силы: она ничего не дает обратно.

Фамильярность превосходящего нас человека озлобляет, так как мы не можем расплатиться с ним тою же монетой. Напротив, следует посоветовать ему быть вежливым, т. е. постоянно делать вид, что он уважает нечто.

Что какой-то человек приходится нам по душе, это мы охотно зачитываем в пользу его и нашей собственной моральности.

Кто честно относится к людям, тот все еще скупится своей вежливостью.

Когда мы желаем отделаться от какого-то человека, нам надобно лишь унизить себя перед ним — это тотчас же заденет его тщеславие, и он уберется восвояси.

Познавая нечто в человеке, мы в то же время разжигаем в нем это, а кто познает лишь низменные свойства человека, тот обладает и стимулирующей их силой и дает им разрядиться. Аффекты ближних твоих, обращенные против тебя, суть критика твоего познания, сообразно уровню его высоты и низости.

Эпоха величайших свершений окажется вопреки всему эпохой ничтожнейших воздействий, если люди бу-

дут резиновыми и чересчур эластичными.

Ученикам надо разбалтывать тайны.

Где оскорблена гордость, там вырастает еще нечто лучшее, чем гордость.

Хорошими актерами находил я всех тщеславных: они играют и хотят, чтобы все смотрели на них с удовольствием,— весь дух их в этом желании.

Они исполняют себя, они выдумывают себя; вблизи их люблю я смотреть на жизнь — это исцеляет от тоски.

Потому и щажу я тщеславных, что они врачи моей тоски и привязывают меня к человеку, как к зрелищу.

И если истинная добродетель та, что не знает о себе самой,— то и тщеславный не знает о своей скромности!

Мужество — лучшее смертоносное оружие: мужество убивает даже сострадание. Сострадание же есть наиболее глубокая пропасть: ибо, насколько глубоко человек заглядывает в жизнь, настолько глубоко заглядывает он и в страдание.

Все прямое лжет.

Всякая истина крива, само время есть круг.

Последователей искал некогда созидающий и детей *своей* надежды — и вот ока-

залось, что он не может найти их иначе, как сам впервые создав их.

С довольством может мириться только скромная добродетель.

Любите, пожалуй, своего ближнего, как себя,— но прежде всего будьте такими, которые *любят самих себя* — любят великой любовью, любят великим презрением!

В пощаде и жалости лежала всегда моя величайшая опасность; а всякое человеческое существо хочет, чтобы пощадили и пожалели его.

Кто живет среди добрых, того учит сострадание лгать.

Сострадание делает удушливым воздух для всех свободных душ. Ибо глупость добрых неисповедима.

Надо научиться любить себя самого — так учу я — любовью цельной и здоровой: чтобы сносить себя самого и не скитаться всюду.

Такое скитание называется «любовью к ближнему»; с помощью этого слова до сих пор лгали и лицемерили больше всего, и особенно те, кого весь мир сносил с трудом.

Особенно человек сильный и выносливый, способный к глубокому почитанию: слишком много *чужих* тяжелых слов и ценностей навью-

чивает он на себя,— и вот жизнь кажется ему пустыней!

Трудно открыть человека, а себя самого всего труднее; часто лжет дух о душе. Так устраивает это дух тяжести.

Поистине, не люблю я тех, у кого всякая вещь называется хорошей и этот мир даже наилучшим из миров. Их называю я вседовольными.

Не надо искать наслаждений там, где нет места для наслажденья. И — не надо *желать* наслаждаться!

Быть правдивыми — *могут* немногие! И кто может,

не хочет еще! Но меньше всего могут быть ими добрые.

Мне жаль всего прошлого, ибо я вижу, что оно отдано на произвол — милости, духа и безумия каждого из поколений, которое приходит и все, что было, толкует как мост для себя!

Своими детьми должны вы искупить то, что вы дети своих отцов: все прошлое должны вы спасти этим путем!

Даже в лучшем есть и нечто отвратительное; и даже лучший человек есть нечто, что должно преодолеть!

Паразит — самый низший род; но кто высшего

рода, тот кормит наибольшее число паразитов.

Я люблю храбрых; но недостаточно быть рубакой — надо также знать, *кого* рубить!

Часто бывает больше храбрости в том, чтобы удержаться и пройти мимо — *и этим* сохранить себя для более достойного врага!

Великие предметы требуют, чтобы о них молчали или говорили величественно: величественно, т. е. цинично и с непорочностью.

Ценности и *их изменения* стоят в связи с *возрастанием силы лица, устанавливающего ценности.*

Все, что делается в состоянии слабости, терпит неудачу. Мораль: ничего не делать.

Сила какой-либо натуры сказывается в задерживании реакции, в некоторой отсрочке ее.

Нет солидарности в обществе, где имеются неплодотворные, непродуктивные и разрушительные элементы, которые к тому же дадут еще более выродившееся, чем они сами, потомство.

Горе всем любящим, у которых нет более высокой вершины, чем сострадание их!

Собака оплачивает хорошее расположение к себе покорностью. Кошка наслаждается при этом собою и испытывает сладострастное чувство силы: она ничего не дает обратно.

Все одинаково, не стоит ничего делать, в мире нет смысла, знание душит.

Возмущает низших всякое благодеяние и подачка; и те, кто слишком богат, пусть будут настороже.

Не сердитесь же на того, кто по вас поднимается на высоту *свою*.

Вы не должны ничего хотеть свыше сил своих: дурная лживость присуща тем, кто хочет свыше сил своих.

Толпа не знает, что велико, что мало, что прямо и правдиво: она криводушна по невинности, она лжет всегда.

Если вы хотите высоко подняться, пользуйтесь собственными ногами! Не позволяйте *нести* себя, не садитесь на чужие плечи и головы!

Кривым путем приближаются все хорошие вещи к цели своей. Они выгибаются, как кошки, они мурлычут от близкого счастья своего,— все хорошие вещи смеются.

Хорошие песни должны хорошо отзываться в сердцах: после хороших песен надо долго хранить молчание.

Право альтруизма нельзя сводить к физиологии; столь же мало можно это делать и

по отношению к праву на помощь, на одинаковую участь: это все премии для дегенератов и убогих.

Нет солидарности в обществе, где имеются неплодотворные, непродуктивные и разрушительные элементы, которые к тому же дадут еще более выродившееся, чем они сами, потомство.

Раса испорчена — не пороками своими, а неведением. Она испорчена потому, что она истощение восприняла не как истощение: ошибки в физиологии суть причины всех зол.

Медленное выступление вперед и подъем средних и

низших состояний и сословий (в том числе низших форм духа и тела), которое уже в значительной мере было подготовлено французской революцией, но которое и без революции не замедлило бы проложить себе дорогу,— в целом приводит, таким образом, к перевесу стада над всеми пастухами и вожатыми.

В традиции видят тяжкую неизбежность: ее изучают, признают (как «наследственность»), но не *хотят* ее.

«Будьте просты» — вот требование, которое, обращенное к нам, сложным и непостижимым испытателям утроб, является просто глупостью... Будьте естественны!

Чем вызывается к жизни мораль, законодательство: глубоким инстинктивным чувством того, что лишь благодаря *автоматизму* возможно совершенство в жизни и творчестве.

Быть может, я лучше всех знаю, почему только человек смеется: он один страдает так глубоко, что *принужден* был изобрести смех. Самое несчастное и самое меланхолическое животное — по справедливости и самое веселое.

Духовное просвещение — вернейшее средство сделать людей неустойчивыми, слабыми волей, ищущими сообщества и поддержки,— короче, развить в человеке стад-

ное животное; вот почему до сих пор все великие правители-художники (Конфуций в Китае, imperium Romanum, Наполеон, папство в те времена, когда оно было обращено к власти, а не только к миру), в которых достигли своего *кульминационного* пункта господствующие инстинкты, пользовались и духовным просвещением, по меньшей мере предоставляли ему *свободу действия* (как папы ренессанса).

Что отличает нас, действительно *хороших европейцев,* от людей различных отечеств, какое мы имеем перед ними преимущество? Во-первых, мы — атеисты и имморалисты, но мы поддержи-

ваем религии и морали стадного инстинкта: дело в том, что при помощи их подготовляется порода людей, которая когда-нибудь да попадет в наши руки, которая должна будет *восхотеть* нашей руки.

Мое основное положение: нет моральных явлений, а есть только моральная интерпретация этих явлений. Сама же эта интерпретация — внеморального происхождения.

Сфера действия моральных оценок: они являются спутниками почти каждого чувственного впечатления. Мир благодаря этому является *окрашенным.*

Проблема «равенства», тогда как все мы жаждем от-

личия: как раз в этом случае от нас требуют, наоборот, чтобы мы предъявляли к себе точно такие же требования, как к другим. Это — страшная безвкусица, это — явное безумие! Но оно ощущается как нечто святое, возвышенное, противоречие же разуму почти совершенно не замечается.

Самопожертвование и самоотверженность как заслуга, безусловное повиновение морали и вера в то, что перед ней мы все равны.

Ценность поступка должна быть измеряема его последствиями,— говорят утилитаристы,— оценка поступка по его происхождению

включает невозможность, а именно: невозможность знать это последнее.

Мы наследники совершавшихся в течение двух тысячелетий вивисекций совести и самораспятия: в этом наш продолжительнейший опыт, наше мастерство, может быть, и,во всяком случае, наша утонченность. Мы тесно связали естественные склонности с дурной совестью.

Человек — незаметный, слишком высоко о себе мнящий животный вид, время которого, к счастью, ограничено; жизнь на земле в целом — мгновенье, эпизод, исключение без особых последствий, нечто, что пройдет бесследно для общей физи-

ономии земли; сама земля, подобно остальным созвездиям,— зияние между двумя ничто, событие без плана, разума, воли, самосознания, худший вид необходимого, *глупая* необходимость...

Победа морального идеала достигается при помощи тех же «безнравственных» средств, как всякая победа: насилием, ложью, клеветой, несправедливостью.

Лицемерная личина, которую носят на показ все *учреждения гражданского общества,* должна показать, что они суть якобы *порождения моральности,*— например, брак, труд, профессия, отечество, семья, порядок, право. Но так

как все они без исключения созданы для *среднего* сорта людей, в целях защиты последнего против исключений и исключительных потребностей, то нет ничего удивительного, что в этом случае мы видим такую массу лжи.

Алчность, властолюбие, леность, глупость, страх — все они заинтересованы в деле добродетели; поэтому-то она и стоит так твердо.

Человек, как он *должен* быть,— это звучит для нас столь же нелепо, как «дерево, как оно должно быть».

Порок не причина, порок есть *следствие...* Порок есть довольно произвольное отграничение понятия, имеющее целью объединить изве-

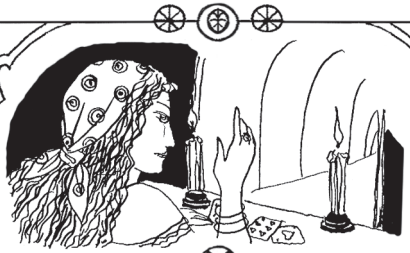
стные следствия физиологического вырождения.

Всякий инстинкт, *который стремится к господству,* но который сам находится под ярмом, нуждается для поддержания своего самочувствия, для своего укрепления во всевозможных красивых именах и *признанных* ценностях; поэтому он решается заявить о себе *большей частью* лишь под именем того «господина», с которым он борется и от которого он стремится освободиться (например, при господстве христианских ценностей запросы плоти или желание власти).

Страсти часто являются источником больших бед,

следовательно, они дурны, предосудительны. Человек должен освободиться от них: раньше он не может быть *хорошим* человеком...

Мораль — это зверинец; предпосылка ее — та, что железные прутья могут быть полезнее, чем свобода, даже для уже уловленных; другая ее предпосылка, что существуют укротители зверей, которые не останавливаются перед самыми ужасными средствами,— которые умеют пользоваться раскаленным железом. Эта ужасная порода, которая вступает в борьбу с дикими животными, называет себя священниками.



КОЖА ДУШИ

Нет пастуха, одно лишь стадо! Каждый желает равенства, все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом.

У них есть свое удовольствьице для дня и свое удовольствьице для ночи; но здоровье — выше всего.

Страданием и бессилием созданы все потусторонние миры, и тем коротким безумием счастья, которое испытывает только страдающий больше всех.

Усталость, желающая одним скачком, скачком смерти, достигнуть конца, бедная усталость неведения, не же-

лающая больше хотеть: ею созданы все боги и потусторонние миры.

У иных целомудрие есть добродетель, но у многих почти что порок.

Кому тягостно целомудрие, тому надо его отсоветовать: чтобы не сделалось оно путем в преисподнюю, т. е. грязью и похотью души.

«Всегда быть одному слишком много для меня» — так думает отшельник. «Всегда один и один — это дает со временем двух».

Всегда для отшельника друг является третьим: третий — это пробка, мешаю-

щая разговору двух опуститься в бездонную глубь.

Познающий ходит среди людей, *как* среди зверей.

Стыд, стыд, стыд — вот история человека!

Благородный предписывает себе не стыдить других: стыд предписывает он себе перед всяким страдающим.

И когда мы научимся лучше радоваться, тогда мы тем чаще разучимся причинять другим горе и выдумывать его.

Будьте чопорны, когда принимаете что-нибудь! Вознаграждайте дарящего са-

мим фактом того, что вы принимаете!

Но нищих надо бы совсем уничтожить! Поистине, сердишься, что даешь им, и сердишься, что не даешь им.

Надо сдерживать свое сердце; стоит только распустить его, и как быстро каждый теряет голову!

Кровь — самый худший свидетель истины; кровь отравляет самое чистое учение до степени безумия и ненависти сердец.

Если имеешь характер, то имеешь и свои типичные пережитки, которые постоянно повторяются.

Кто достигает своего идеала, тот этим самым перерастает его.

Иной павлин прячет от всех свой павлиний хвост — и называет это своей гордостью.

Степень и характер родовитости человека проникает его существо до последней вершины его духа.

Презирающий самого себя все же чтит себя при этом как человека, который презирает.

Душа, чувствующая, что ее любят, но сама не любящая, обнаруживает свои подонки: самое низкое в ней всплывает наверх.

Тяжелые, угрюмые люди становятся легче именно от того, что отягчает других, от любви и ненависти, и на время поднимаются к своей поверхности.

Стыдиться своей безнравственности — это одна из ступеней той лестницы, на вершине которой стыдятся также своей нравственности.

Нужно расставаться с жизнью, как Одиссей с Навсикаей,— более благословляющим, нежели влюбленным.

Как? Великий человек? — Я все еще вижу только актера своего собственного идеала.

Душа, чувствующая, что ее любят, но сама не любящая, обнаруживает свои подонки: самое низкое в ней всплывает наверх.

Если дрессировать свою совесть, то и кусая она будет целовать нас.

Разочарованный говорит: «Я слушал эхо и слышал только похвалу».

Наедине с собою мы представляем себе всех простодушнее себя: таким образом мы даем себе отдых от наших ближних.

Музыка является средством для самоуслаждения страстей.

Раз принятое решение закрывать уши даже перед основательнейшим противным доводом — признак сильного характера. Стало

быть, случайная воля к глупости.

Труднее всего уязвить наше тщеславие как раз тогда, когда уязвлена наша гордость.

Есть невинность восхищения; ею обладает тот, кому еще не приходило в голову, что и им могут когда-нибудь восхищаться.

Отвращение к грязи может быть так велико, что будет препятствовать нам очищаться — «оправдываться».

Иной человек, радующийся похвале, обнаруживает этим только учтивость сердца — и как раз нечто

противоположное тщеславию ума.

Кто ликует даже на костре, тот торжествует не над болью, а над тем, что не чувствует боли там, где ожидал ее. Притча.

Что человек собою *представляет,* это начинает открываться тогда, когда ослабевает его талант,— когда он перестает показывать то, что он *может.* Талант — тоже наряд: наряд — тоже способ скрываться.

Один ищет акушера для своих мыслей, другой — человека, которому он может помочь разрешиться ими: так возникает добрая беседа.

Нашему сильнейшему инстинкту, тирану в нас, подчиняется не только наш разум, но и наша совесть.

Поэты бесстыдны по отношению к своим переживаниям: они эксплуатируют их.

Люди свободно лгут ртом, но рожа, которую они при этом корчат, все-таки говорит правду.

У суровых людей задушевность является предметом стыда — это и есть нечто ценное.

Много говорить о себе — может также служить средством для того, чтобы скрывать себя.

В хвале больше назойливости, чем в порицании.

Сострадание в человеке познания почти так же смешно, как нежные руки у циклопа.

Чужое тщеславие приходится нам не по вкусу только тогда, когда оно задевает наше тщеславие.

Каждый человек именно настолько тщеславен, насколько ему хватает ума.

В объяснении прошлого вы должны исходить из того, что составляет высшую силу современности.

Подобно тому, как кости, мускулы, внутренности и кровеносные сосуды окружены кожей, которая делает выносимым вид человека, так и побуждения и страсти души прикрыты тщеславием: оно есть кожа души.

Зверь в нас должен быть обманут; мораль есть вынужденная ложь, без которой он растерзал бы нас. Без заблуждений, которые лежат в основе моральных допущений, человек остался бы зверем.

Всякий, кто объявляет, что кто-либо другой есть глупец или дурной человек, сердится, если последнему уда-

ется показать, что он на самом деле не таков.

Большинство людей слишком заняты самими собой, чтобы быть злобными.

Мы хвалим или порицаем, смотря по тому, дает ли нам то или другое большую возможность обнаружить блеск нашего ума.

Кто унижает себя самого, тот хочет быть возвышенным.

Быть дурным — значит быть «ненравственным» (безнравственным), чинить безнравье, восставать против обычая, все равно, разумен ли он или глуп; но нанесение

вреда ближнему ощущалось всеми нравственными законами преимущественно как нечто вредное, так что теперь при слове «злой» мы главным образом думаем об умышленном нанесении вреда ближнему.

Значительный род удовольствия и тем самым источник нравственности возникает из привычки.

Совершенная безответственность человека за его действия и за его существо есть горчайшая капля, которую должен проглотить познающий, если он привык считать ответственность и долг охранной грамотой своей человечности.

Долгие и великие страдания воспитывают в человеке тирана.

Тем, как и что почитаешь, образуешь всегда вокруг себя дистанцию.

Я мог бы погибнуть от каждого отдельного аффекта, присущего мне. Я всегда сталкивал их друг с другом.

Я чувствую в себе склонность быть обворованным, обобранным. Но стоило только мне замечать, что все шло к тому, чтобы *обманывать* меня, как я впадал в *эгоизм.*

Испытывал ли я когда-нибудь угрызение совести?

Память моя хранит на этот счет молчание.

Я ненавижу обывательщину гораздо больше, чем грех.

Люблю ли я музыку? Я не знаю: слишком часто я ее и ненавижу. Но музыка любит меня, и стоит лишь кому-то покинуть меня, как она мигом рвется ко мне и хочет быть любимой.

Это благородно — стыдиться лучшего в себе, так как только сам и обладаешь им.

Я не бегу близости людей: как раз даль, извечная даль, пролегающая между челове-

ком и человеком, гонит меня в одиночество.

Героизм — таково настроение человека, стремящегося к цели, помимо которой он вообще уже не идет в счет. Героизм — это *добрая воля* к абсолютной самопогибели.

Возвышенный человек, видя возвышенное, становится свободным, уверенным, широким, спокойным, радостным, но совершенно прекрасное потрясает его своим видом и сшибает с ног; перед ним он отрицает самого себя.

Кто стремится к величию, у того есть основания

увенчивать свой путь и довольствоваться количеством. *Люди качества стремятся к малому.*

Всякий восторг заключает в себе нечто вроде испуга и бегства от самих себя — временами даже само-*отречение*, само-отрицание.

В усталости нами овладевают и давно преодоленные понятия.

Одухотворяет сердце; дух же сердит и вселяет мужество опасности. О, уж этот язык!

Больные лихорадкой видят лишь призраки вещей, а те, у кого нормальная тем-

пература,— лишь тени вещей; при этом те и другие нуждаются в одинаковых словах.

Кому свойственно отвращение к возвышенному, тому не только «да», но и «нет» кажется уже слишком патетическим,— он не принадлежит к отрицающим умам, и, случись ему оказаться на их путях, он внезапно останавливается и бежит прочь — в заросли скепсиса.

В моей голове нет ничего, кроме личной морали, и сотворить себе право на нее составляет смысл всех моих исторических вопросов о морали. Это ужасно труд-

но — сотворить себе такое *право*.

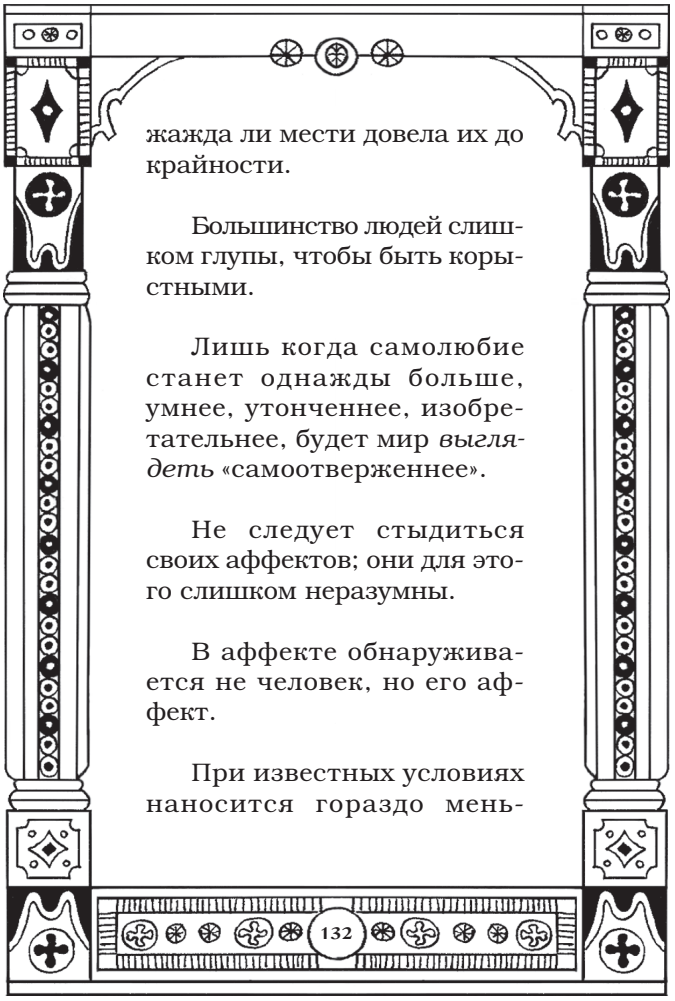
Нечистая совесть — это налог, которым изобретение чистой совести обложило людей.

Есть степень заядлой лживости, которую называют «чистой совестью».

Моральные люди испытывают самодовольство при угрызениях совести.

Моральное негодование есть коварнейший способ мести.

Я рекомендую всем мученикам поразмыслить, не



жажда ли мести довела их до крайности.

Большинство людей слишком глупы, чтобы быть корыстными.

Лишь когда самолюбие станет однажды больше, умнее, утонченнее, изобретательнее, будет мир *выглядеть* «самоотверженнее».

Не следует стыдиться своих аффектов; они для этого слишком неразумны.

В аффекте обнаруживается не человек, но его аффект.

При известных условиях наносится гораздо мень-

ший общий вред, когда кто-то срывает свои аффекты на других, чем на самом себе: в особенности это относится к творческим натурам, сулящим большую пользу.

Говорят: «удовольствие» — и думают об усладах, говорят: «чувство» — и думают о чувственности, говорят: «тело» — и думают о том, что «ниже тела»,— и таким вот образом была обесчещена троица хороших вещей.

Лишь тот порочный человек несчастен, у кого потребность в пороке растет вместе с отвращением к пороку — и никогда не зарастает им.

Если я почитаю какое-либо чувство, то почитание врастает в само чувство.

Смысл наших садов и дворцов (и постольку же смысл всяческого домогания богатств) заключается в том, чтобы *выдворить из наших взоров беспорядок и пошлость и сотворить родину дворянству души.*

Людям по большей части кажется, что они делаются *более высокими натурами,* давая воздействовать на себя этим прекрасным, спокойным предметам: отсюда погоня за Италией, путешествия и т. д., всяческое чтение и посещение театров. *Они хотят формироваться* — таков смысл их культурной

работы! Но сильные, могущественные натуры хотят *формировать* и *изгнать из своего окружения все чуждое.*

Так же уходят люди и в великую природу: не для того, чтобы находить себя, а чтобы утрачивать и забывать себя в ней. *«Быть-вне-себя»* как желание всех.

Вовсе не легко отыскать книгу, которая научила нас столь же многому, как книга, написанная нами самими.

Страстные, но бессердечные и артистичные — таковыми были греки, таковыми были даже греческие философы, как *Платон.*

Стиль должен доказывать, что *веришь* в свои мысли и не только мыслишь их, но и *ощущаешь*.

В старании *не* познать самих себя обыкновенные люди выказывают больше тонкости и *хитрости*, чем утонченнейшие мыслители в их противоположном старании — *познать* себя.

Есть дающие натуры и есть воздающие.

Даже в своем голоде, но человеку ищешь, прежде всего, *удобоваримой* пищи, хотя бы она и была малокалорийной: подобно картофелю.

Многое мелкое счастье дарит нас многим мелким убожеством: оно портит этим характер.

Потребность души не следует путать с потребностью *в* душе: последняя свойственна отдельным холодным натурам.

Чтобы взваливать неприятные последствия собственной большинства глупости на саму свою глупость, а не на свой характер,— для этого требуется больше характера, чем есть у людей.

Поистине, великая глупость живет в нашей воле, и проклятием стало всему че-

ловеческому, что эта глупость научилась духу.

У каждой души особый мир; для каждой души всякая другая душа — потусторонний мир.

Не хлебом единым жив человек.

Кто не может лгать, не знает, что есть истина.

Признать ложь за условие, от которого зависит жизнь,— это, конечно, рискованный способ сопротивляться привычному чувству ценности вещей, и философия, отваживающаяся на это, ставит себя уже одним

этим по ту сторону добра и зла.

Каждый инстинкт властолюбив; и, как *таковой*, он пытается философствовать.

Переутомление, любопытство и сочувствие — наши *современные пороки.*

Нет зрелища печальнее, чем то, когда какой-нибудь сапожник или школьный учитель со страдальческим видом дает понять, что он собственно рожден для чего-то высшего.

Наибольшее отвращение возбуждали во мне до сих пор лизоблюды духа; их

можно уже теперь найти в нашей нездоровой Европе повсюду; и что их особенно отличает — это полнейшая чистота их совести.

Музыка есть *постепенное* стихание звука.

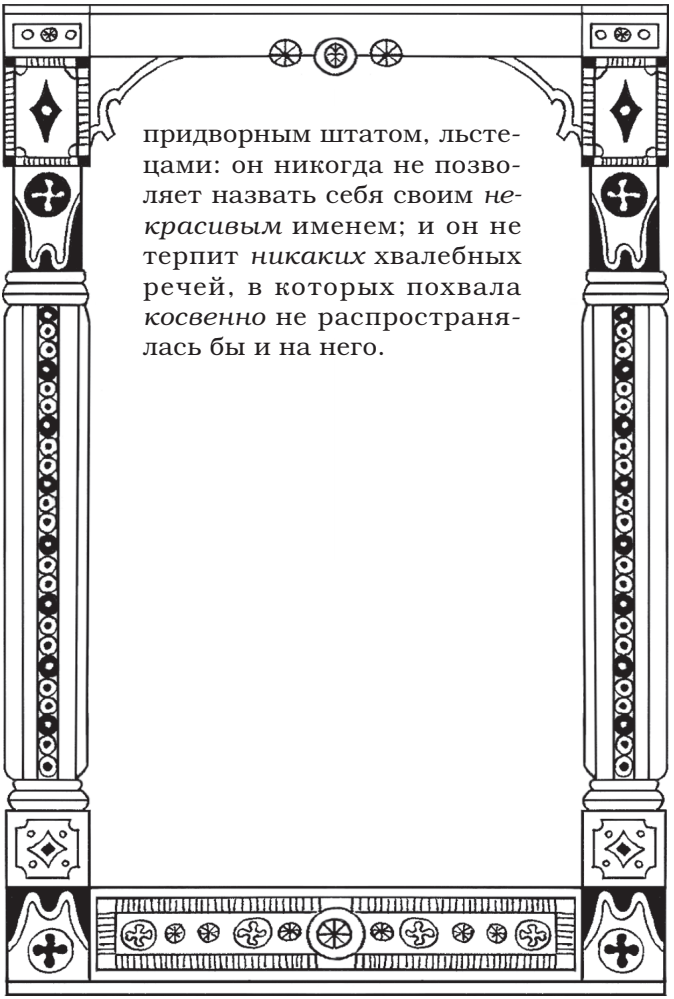
Когда-то говорили о всякой морали: «По ее плодам вы познаете ее». Я говорю о всякой морали: «Она есть плод, по которому я узнаю ту *почву*, на которой он вырос».

Есть люди, которые тщательно разыскивают все безнравственное. Когда они высказывают суждение: «Это несправедливо», то они хотят сказать: «Надо это устра-

нить и изменить». Наоборот,— я никак не могу успокоиться, пока я не выяснил, в чем *безнравственность* всякой данной вещи. Раз я вывел это на свет Божий,— равновесие мое снова восстановлено.

Не напоминает ли мораль в известном отношении фальшивомонетчика? Она утверждает, что якобы что-то *знает,* а именно: что такое «добро и зло». Это значит утверждать, что знаешь, для чего человек существует,— его цель, его назначение.

Каждый *верховный инстинкт* пользуется другими инстинктами как орудиями,



придворным штатом, льстецами: он никогда не позволяет назвать себя своим *некрасивым* именем; и он не терпит *никаких* хвалебных речей, в которых похвала *косвенно* не распространялась бы и на него.

ВСЕ ДОБРО И ВСЕ ЗЛО

Ревнива каждая добродетель в отношении другой, а ревность — ужасная вещь. Даже добродетели могут погибнуть из-за ревности.

Кого окружает пламя ревности, тот обращает наконец, подобно скорпиону, отравленное жало на самого себя.

Поистине, люди дали себе все добро и все зло свое. Поистине, они не заимствовали и не находили его, оно не упало к ним, как глас с небес.

Если есть враг у вас, не платите ему за зло добром: ибо это пристыдило бы его. Напротив, докажите ему, что он сделал для вас нечто доброе.

Необыкновенна и бесполезна высшая добродетель, блестяща и кротка она в своем блеске: дарящая добродетель есть высшая добродетель.

Символы все — имена добра и зла: они ничего не выражают, они только подмигивают. Безумец тот, кто требует знания от них.

Когда ваше сердце бьется широко и полно, как бурный поток, который есть благо и опасность для живущих на берегу,— тогда зарождается ваша добродетель.

Когда вы возвысились над похвалою и порицанием и ваша воля, как воля

любящего, хочет приказывать всем вещам,— тогда зарождается ваша добродетель.

Когда вы презираете удобство и мягкое ложе и можете ложиться недостаточно далеко от мягкотелых,— тогда зарождается ваша добродетель.

Не позволяйте вашей добродетели улетать от земного и биться крыльями о вечные стены!

Приводите улетевшую добродетель обратно к земле,— да, обратно к телу и жизни: чтобы дала она свой смысл земле, смысл человеческий!

Плохо отплачивает тот учителю, кто навсегда остается только учеником.

Но хуже всего мелкие мысли. Поистине, лучше уж совершить злое, чем подумать мелкое!

Радость мелкой злобы бережет нас от крупного злого дела.

Злое дело похоже на нарыв: оно зудит, и чешется, и нарывает,— оно говорит откровенно.

Вы любите вашу добродетель, как мать любит свое дитя; но когда же слыхано было, чтобы мать хотела платы за свою любовь?

Ваша добродетель — это самое дорогое ваше Само. В вас есть жажда кольца; чтобы снова достичь самого себя, для этого вертится и крутится каждое кольцо.

Почти все верят, что участвуют в добродетели; и все хотят по меньшей мере быть знатоком в «добре» и «зле».

Вашу волю и ваши ценности спустили вы на реку становления; старая воля к власти брезжит мне в том, во что верит народ как в добро и зло.

«Сострадание ко всем» было бы суровостью и тиранией по отношению к *тебе*, сударь мой, сосед!

Великие эпохи нашей жизни наступают тогда, когда у нас является мужество переименовать наше злое в наше лучшее.

Люди наказываются сильнее всего за свои добродетели.

Фарисейство не есть вырождение доброго человека: напротив, изрядное количество его является скорее условием всякого благоденствия.

То, что в данное время считается злом, обыкновенно есть несвоевременный отзвук того, что некогда считалось добром, — атавизм старейшего идеала.

Все, что делается из любви, совершается всегда по ту сторону добра и зла.

Должно отплачивать за добро и за зло, но почему именно тому лицу, которое нам сделало добро или зло?

Бывает заносчивость доброты, имеющая вид злобы.

Самое крошечное счастье, если только оно непрерывно и делает человека счастливым, конечно, есть несравненно большее счастье, чем величайшее счастье, которое появляется только как эпизод или, так сказать, как мимолетное настроение, как безумный каприз среди по-

стоянных страданий, страстей и лишений.

Как для самого маленького, так и для самого большого счастья существует только одно условие, которое делает счастье счастьем: способность забвения.

Кто не может замереть на пороге мгновения, забыв все прошлое, кто не может без головокружения и страха стоять на одной точке, подобно богине победы, тот никогда не будет знать, что такое счастье, или, еще хуже: он никогда не сумеет совершить того, что делает счастливыми других.

Поистине, никто не имеет больших прав на наше ува-

Вы любите вашу добродетель, как мать любит свое дитя; но когда же слыхано было, чтобы мать хотела платы за свою любовь?

жение, чем тот, кто хочет и может быть справедливым. Ибо в справедливости совмещаются и скрываются высшие и редчайшие добродетели, как в море, принимающем и поглощающем в своей неизведанной глубине впадающие в него со всех сторон реки.

Каждая добродетель имеет привилегии: например, привилегию подложить собственную связку дров в костер осужденного.

Редко ошибешься, если исключительные поступки будешь объяснять тщеславием, посредственные — привычкой и мелкие — страхом.

Кто изведал безнравственное в соединении с наслаждением — как человек, имевший сластолюбивую юность,— тот воображает, что добродетель должна быть связана со страданием. Кого, напротив, сильно терзали его страсти и пороки, тот мечтает найти в добродетели покой и душевное счастье. Поэтому возможно, что два добродетельных человека совсем не понимают друг друга.

Аскет делает из добродетели нужду.

Когда добродетель выспится, она встает более свежей.

Люди не стыдятся думать что-нибудь грязное, но сты-

дятся, когда предполагают, что им приписывают эти грязные мысли.

Как только благоразумие говорит: «Не делай этого, это будет дурно истолковано»,— я всегда поступаю вопреки ему.

Для меня не должно быть человека, к которому я испытывал бы отвращение или ненависть.

Я ненавижу людей, не умеющих прощать.

Противоположностью героического идеала является идеал гармонической всеразвитости — прекрасная противоположность и вполне

желательная! Но идеал этот действителен лишь для добротных людей (например, Гёте).

Причинять боль тому, кого мы любим,— сущая чертовщина. По отношению к нам самим таково состояние героических людей: предельное насилие. Стремление впасть в противоположную крайность относится сюда же.

Люди, стремящиеся к величию, суть по обыкновению злые люди: таков их единственный способ выносить самих себя.

Стремление к величию выдает с головой: кто облада-

ет величием, тот стремится к доброте.

Кто хочет стать водителем людей, должен в течение доброго промежутка времени слыть среди них их опаснейшим врагом.

Покуда к тебе относятся враждебно, ты еще не превозмог своего времени: ему не положено видеть тебя — столь высоким и отдаленным должен ты быть для него.

Видеть и все же не верить — первая добродетель познающего; видимость — величайший его искуситель.

Когда морализируют добрые, они вызывают отвраще-

ние; когда морализируют злые, они вызывают страх.

«Добро и зло суть предрассудки Божьи»,— сказала змея. Но и сама змея была предрассудком Божьим.

«Религиозный человек», «глупец», «гений», «преступник», «тиран» — все это суть дурные названия и частности, замещающие кого-то неназываемого.

Можно с одинаковым успехом выводить свойства добрых людей из зла, а свойства злых людей из добра: из какого же контраста вывести самого *Ларошфуко!*

«Есть герои как в злом, так и в добром» — это совер-

шенная наивность в устах какого-нибудь *Ларошфуко*.

Следует оберегать зло, как оберегают лес. Верно то, что вследствие редения и раскорчевок леса земля потеплела.

Зло и великий аффект потрясают нас и опрокидывают все, что есть в нас трухлявого и мелкого: вам следовало бы прежде испытать, не смогли бы вы стать великими.

Остерегайтесь морально негодующих людей: им присуще жало трусливой, скрытой даже от них самих злобы.

Мы находим у различных людей *одинаковое количество*

страстей, впрочем по-разному поименованных, оцененных и тем самым разно*направленных. Добро* и *зло* отличаются друг от друга различной иерархией страстей и господством целей.

Почитание само есть уже страсть — как и оскорбление. Через *почитание «страсти»* становятся *добродетелями.*

Домогание есть счастье; удовлетворение, переживаемое как счастье, есть лишь последний момент домогания. Счастье — быть сплошным желанием и вместо исполнения — все новым желанием.

Толковать свои склонности и антипатии как свой

долг — большая нечистоплотность «добрых»!

Стоит нам только на один шаг переступить среднюю меру человеческой доброты, как наши поступки вызывают недоверие. Добродетель покоится как раз «посередине».

Жестокость бесчувственного человека есть антипод сострадания; жестокость чувствительного — более высокая потенция сострадания.

Радость от ущерба, нанесенного другому, представляет собою нечто иное, чем жестокость; последняя есть *наслаждение,* причиняемое состраданием, и достигает

крайней точки при кульминации самого сострадания (в том случае, когда мы любим того, кого пытаем). Если кто-то другой причинил бы боль тому, кого мы любим, тогда мы пришли бы в бешенство, и сострадание было бы крайне *болезненным.* Но мы любим его, и боль ему причиняем *мы.* Оттого сострадание делается чудовищно сладким: оно есть *противоречие* двух контрастных и сильных инстинктов, действующее здесь *в высшей степени возбуждающе.*— Причинение себе телесного повреждения и похоть, уживающиеся друг с другом, суть одно и то же. Или просветленнейшее сознание при свинцовой тяжести и неподвижности после опиума.

Есть много жестоких людей, которые лишь чересчур трусливы для жестокости.

Где всегда добровольно берут на себя страдания, там вольны также доставлять себе этим удовольствие.

Если обладаешь волей к страданию, то это лишь шаг к тому, чтобы возобладать и волей, к жестокости,— именно в качестве как права, так и долга.

Посредством доброй воли к помощи, состраданию, подчинению, отказу от личных притязаний даже незначительные и поверхностные люди внешне делаются полезными и сносными. Не сле-

дует только разубеждать их в том, что эта воля есть «сама добродетель».

Прекраснейшие цвета, которыми светятся добродетели, выдуманы теми, кому их недоставало. Откуда, например, берет свое начало бархатный глянец доброты и сострадания?— Наверняка не от добрых и сострадательных.

У язвительного человека чувство пробивается наружу редко, но всегда очень громко.

Всяким маленьким счастьем надлежит пользоваться, как больной постелью: для выздоровления — и никак иначе.

Там, где дело идет о большом благополучии, следует *накоплять* свою репутацию.

«Не будем говорить об этом!» — «Друг, *об этом* мы не вправе даже молчать».

Бюргерские и рыцарские добродетели не понимают друг друга и чернят друг друга.

Моя третья человеческая мудрость в том, что ваша боязливость не делает для меня противным вид *злых* людей.

Почти с колыбели дают уже нам в наследство тяжелые слова и тяжелые ценности: «добро» и «зло» — так называется это приданое. И

ради них прощают нам то, что живем мы.

Никто не знает еще, что добро и что зло, — если сам он не есть созидающий.

О, эти добрые! — *Добрые люди никогда не говорят правды;* для духа быть таким добрым — болезнь.

Есть старое безумие, оно называется добро и зло. Вокруг прорицателей и звездочетов вращалось до сих пор колесо этого безумия.

С насмешливой злобой смотрим мы на то, что называется «идеалами»; мы презираем себя лишь за то, что не всегда можем подавить в

себе то нелепое движение чувства, которое называется идеализмом.

В ребенке вашем вся ваша любовь, в нем же и вся ваша добродетель.

Не будьте добродетельны свыше сил своих! И не требуйте от себя ничего невероятного!

Ходите по стопам, по которым уже ходила добродетель отцов ваших! Как могли бы вы подняться высоко, если бы воля отцов ваших не поднималась с вами?

Убивают не гневом, а смехом.

Добродетель есть наше великое недоразумение.

Мы по ту сторону добра и зла, но мы требуем безусловного признания святыни стадной морали.

Все добродетели, в сущности, не что иное, как утонченные *страсти* и повышенные состояния.

Сострадание и любовь к человечеству как известная степень развития полового влечения.

Справедливость как развитой инстинкт мести. Добродетель как удовольствие от сопротивления, воля к власти. Честь как признание сходного и равно могущественного.

Под «моралью» я понимаю систему оценок, имеющую корни в жизненных условиях известного существа.

Кто знает, как возникает всякая *слава,* тот будет относиться подозрительно и к той славе, которой пользуется добродетель.

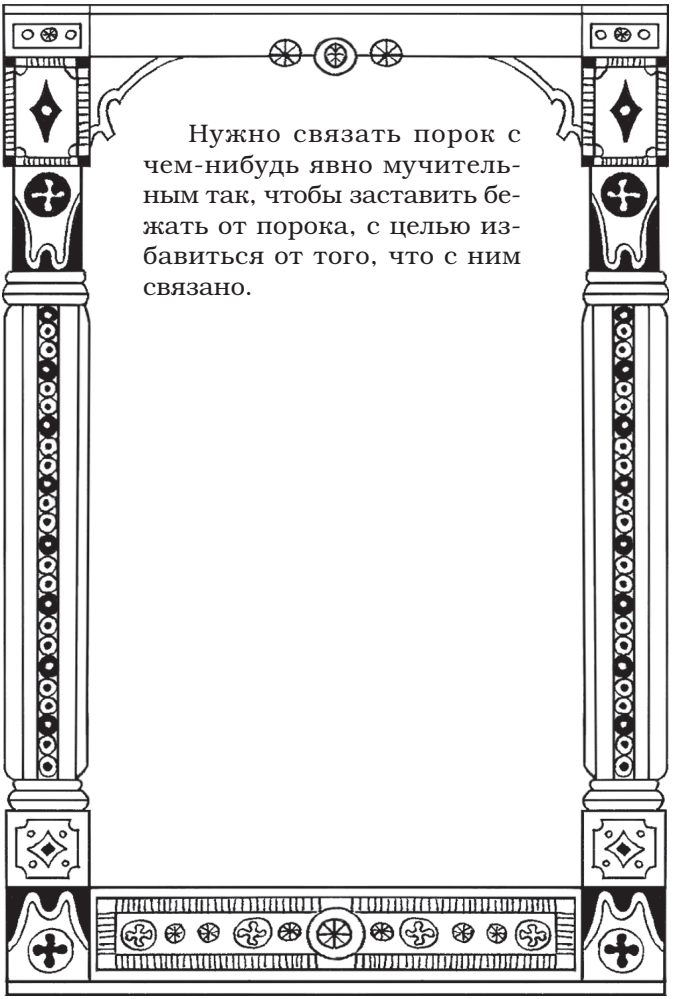
Мораль столь же «безнравственна», как любая иная вещь на земле. Сама моральность есть форма безнравственности.

Опираясь исключительно на добродетель, нельзя утвердить господство добродетели; когда опираются на добродетель, то отказываются от власти, утрачивают волю к власти.

Нужно защищать *добродетель* против проповедников добродетели: это ее злейшие враги. Ибо они проповедуют добродетель как идеал для *всех;* они отнимают у добродетели прелесть чего-то редкого, неподражаемого, исключительного, незаурядного — ее *аристократическое обаяние.*

Добродетель остается самым дорогим пороком: *пусть* она им и остается!

Кому добродетель достается легко, тот даже смеется над ней. В добродетели невозможно сохранить серьезность: достигнув ее, сейчас же спешат прыгнуть дальше — куда? В чертовщину.



Нужно связать порок с чем-нибудь явно мучительным так, чтобы заставить бежать от порока, с целью избавиться от того, что с ним связано.

ТВОРИМ ЛЮДЕЙ ПО ПОДОБИЮ НАШЕГО БОГА

Даже у Бога есть свой ад — это любовь его к людям.

Бог мертв; из-за сострадания своего к людям умер Бог.

На коленях взбирайтесь по лестнице, вы, грешники!

Только красота должна проповедовать покаяние.

Истина существует: ибо существует народ! Горе, горе ищущему!

Если должен ты быть слугою, ищи того, кому твоя служба всего дороже.

Быть может, в склонности позволять унижать себя,

обкрадывать, обманывать, эксплуатировать проявляется стыдливость некоего Бога среди людей.

Разъяснившаяся вещь перестает интересовать нас.— Что имел в виду тот бог, который давал совет: «познай самого себя»! Может быть, это значило: «перестань интересоваться собою, стань объективным»! — А Сократ? — А «человек науки»?

В наше время познающий легко может почувствовать себя животным превращением божества.

В мире самые лучшие вещи ничего еще не стоят, если никто не представляет

их; великими людьми называет народ этих представителей.

Вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир — незримо вращается он. Но вокруг комедиантов вращается народ и слава — таков порядок мира.

Базар полон праздничными скоморохами — и народ хвалится своими великими людьми! Для него они — господа минуты.

Вы, сегодня еще одинокие, вы, живущие вдали, вы будете некогда народом: от вас, избравших самих себя, должен произойти народ избранный, и от него — сверхчеловек.

Бог есть предположение, но я хочу, чтобы ваше предположение простиралось не дальше, чем ваша созидающая воля.

Бог есть предположение; но я хочу, чтобы ваше предположение было ограничено рамками мыслимого.

Бог есть мысль, которая делает все прямое кривым и все, что стоит, вращающимся.

Бесчестнее всего люди относятся к своему Богу; он не *смеет* грешить.

Не человеколюбие, а бессилие их человеколюбия мешает нынешним христиа-

нам предавать нас сожжению.

Свободомыслящему, «благочестивцу познания», еще более противна pia fraus (противна *его* «благочестию»), чем impia fraus. Отсюда его глубокое непонимание церкви, свойственное типу «свободомыслящих»,— как *его* несвобода.

Кто чувствует себя предназначенным для созерцания, а не для веры, для того все верующие слишком шумливы и назойливы,— он обороняется от них.

Что Бог научился греческому, когда захотел стать писателем, в этом заключается

большая утонченность — как и в том, что он не научился ему лучше.

Народ есть окольный путь природы, чтобы прийти к шести-семи великим людям.— Да,— и чтобы потом обойти их.

У черта открываются на Бога самые широкие перспективы; оттого он и держится подальше от него — черт ведь и есть закадычный друг познания.

Брюхо служит причиной того, что человеку не так-то легко возомнить себя Богом.

Вокруг героя все становится трагедией, вокруг по-

лубога все становится драмой сатиров, а вокруг Бога все становится — как? быть может, «миром»?

«Где древо познания, там всегда рай», — так вещают и старейшие и новейшие змеи.

«Наш ближний — это не наш сосед, а сосед нашего соседа», — так думает каждый народ.

Иисус сказал своим иудеям: «Закон был для рабов — вы же любите Бога, как люблю его я, сын Божий! Какое дело сынам Божьим до морали!»

Христианство дало Эроту выпить яду: он, положим, не

умер от этого, но выродился в порок.

С тех пор как утрачена вера, что Бог руководит судьбами мира в целом и, несмотря на все кажущиеся уклонения в пути человечества, все же превосходно ведет его,— люди должны сами ставить себе вселенские, объемлющие всю землю, цели.

Лицемер, который постоянно играет одну и ту же роль, под конец перестает быть лицемером — например, священники, которые обыкновенно в молодости бывают сознательно или бессознательно лицемерами, в конце концов становятся естественными и делаются тог-

да именно подлинными священниками, без всякой аффектации.

Нужно остерегаться, чтобы при изучении прошедших эпох не впасть в несправедливую брань. Несправедливость рабства, жестокость в подчинении личностей и народов нельзя измерять нашей мерой.

Как только религия приобретает господство, ее противниками становятся все те, кто были ее первыми последователями.

Христианство возникло, чтобы облегчить сердца; но теперь оно должно сначала отягчить сердца, чтобы иметь

возможность потом облегчить их. Этим предопределена его судьба.

Странно! Стоит лишь мне умолчать о какой-то мысли и держаться от нее подальше, как эта самая мысль непременно является мне воплощенной в облике человека, и мне приходится теперь любезничать с этим «ангелом Божьим»!

Кто хочет оправдать существование, тому надобно еще и уметь быть адвокатом Бога перед дьяволом.

Настало время, когда дьявол должен быть адвокатом Бога: если и сам он хочет

иначе продлить свое существование.

Богу, который любит, не делает чести заставлять любить Себя: Он скорее предпочел бы быть ненавистным.

Каждая церковь — камень на могиле Богочеловека: ей непременно хочется, чтобы Он не воскрес снова.

Верующий находит своего естественного врага не в свободомыслящем, а в религиозном человеке.

Сильнее всего ненавистен верующему не свободный ум, а новый ум, обладающий новой верой.

Содеянное из любви *не* морально, а религиозно.

Кто не находит больше в Боге великого как такового, тот вообще не находит его уже нигде — он должен либо отрицать его, либо созидать.

Любя, мы творим людей по подобию *нашего* Бога,— и лишь затем мы от всего сердца ненавидим *нашего* дьявола.

Нужно гордо поклоняться, если не можешь быть идолом.

Творить: это значит — выставлять из себя нечто, делать себя более пустым, бо-

лее бедным и более любящим. Когда Бог сотворил мир, Он и сам был тогда не больше, чем пустым понятием — и любовью к сотворенному.

Вы называете это саморазложением Бога; но это лишь его шелушение — он сбрасывает свою моральную кожу! И вскоре вам предстоит увидеть Его снова, по ту сторону добра и зла.

Господствовать — и не быть больше рабом Божьим: осталось лишь это средство, чтобы облагородить людей.

Должно быть, некий дьявол изобрел мораль, чтобы

замучить людей гордостью; а другой дьявол лишит их однажды ее, чтобы замучить их самопрезрением.

«Если ты ведаешь, что творишь, ты блажен,— но если ты не ведаешь этого, ты проклят и преступник закона»,— сказал Иисус одному человеку, нарушившему субботу: слово, обращенное ко всем нарушителям и преступникам.

Иисус из Назарета любил злых, а не добрых: даже его доводил до проклятий их морально негодующий вид. Всюду, где вершился суд, он выступал против судящих: он хотел быть истребителем морали.

Нужно гордо поклоняться,
если не можешь быть идолом.

Сотворить идеал — *это значит: переделать* своего дьявола в *своего* бога. А *для этого* надобно прежде всего сотворить своего дьявола.

«Нет сомнения, что верующие в эту вещь преуспевают во лжи и обмане: следовательно, всё в ней обман и ложь», — так заключают верхогляды. Кто глубже знает людей, тот придет к обратному заключению: «следовательно, в этой вещи есть нечто истинное: верующие в нее выдают таким образом, сколь уверенно чувствуют они себя и сколь хорошей кажется им всякая наживка, если только она заманивает кого-нибудь к этой вещи».

Повелительные натуры будут повелевать даже своим Богом, сколько бы им и ни казалось, что они служат Ему.

Кто расстается с Богом, тот тем крепче держится за веру в мораль.

Чем мораль свободнее от богословия, тем она становится повелительнее.

Бог должен быть вечным, по свидетельству самых благочестивых: у кого так много времени, тот не спешит.

Следует чтить *рок*, говорящий слабому: «погибни!..»

Богом назвали — противление року, порчу и разложе-

ние человечества... Не должно произносить всуе имя Божие...

Я понял: во всякой оценке дело идет об определенной перспективе: *о сохранении* индивида, общины, расы, государства, церкви, веры, культуры. Благодаря *забвению* того факта, что нет никакой другой оценки, кроме основанной на перспективах, все кишит противоречивыми оценками», *а следовательно, и противоречивыми влечениями* в человеке.

Мы видим: здесь говорит авторитет — а кто этот авторитет? Нужно простить человеческой гордости, что она искала этот авторитет как

можно выше, чтобы чувствовать себя возможно менее приниженной под его властью. Итак — говорит Бог!

Бог нужен был как безусловная санкция, для которой нет инстанций выше нее самой, как «категорический император»; или, поскольку дело идет о вере в авторитет разума, требовалась метафизика единства, которая сумела бы сообщить всему этому логичность.

Если человек насквозь грешен, то он должен себя только ненавидеть. В сущности, ему нет основания питать и к своим ближним другие какие-либо чувства; любовь к людям нуждается в

оправдании,— которое заключается в том, что *она вменяется в обязанность Богом.*

Священники — и с ними полусвященники, философы — во все времена называли истиной учение, *воспитательное* действие которого было бы благотворным или казалось благотворным — которое «исправляло».

Наука — есть превращение природы в понятия в целях господства над природой — она относится к рубрике *«средства».*

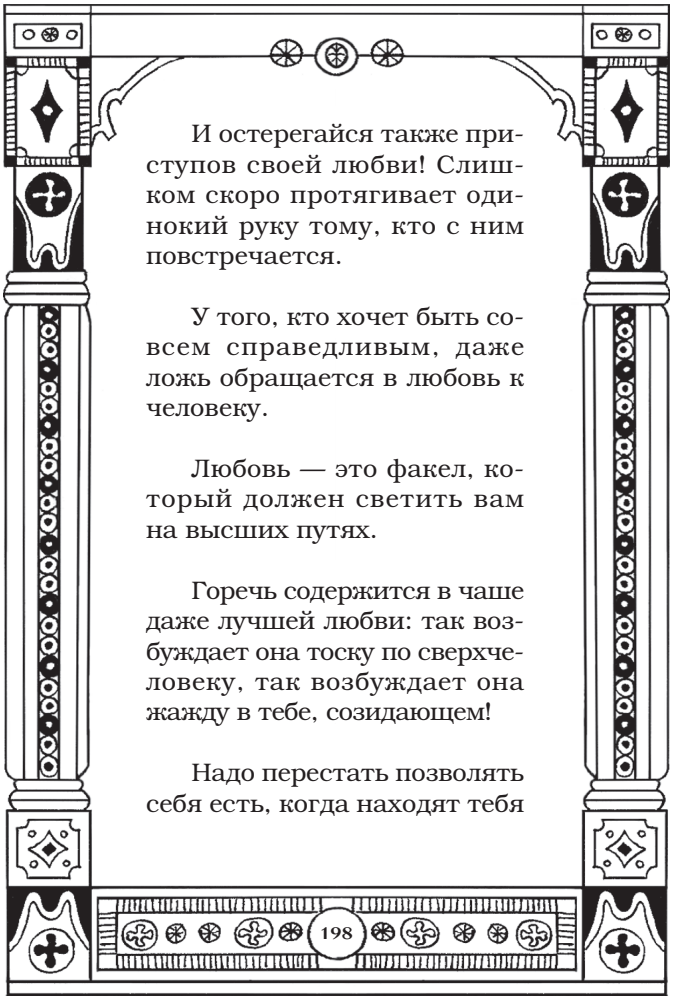
РОСТОК ЛЮБВИ

В любви всегда есть немного безумия. Но и в безумии всегда есть немного разума.

Война и мужество совершили больше великих дел, чем любовь к ближнему. Не ваша жалость, а ваша храбрость спасала доселе несчастных.

И часто с помощью любви хотят лишь перескочить через зависть. Часто нападают и создают себе врагов, чтобы скрыть, что и на тебя могут напасть.

Слишком долго в женщине были скрыты раб и тиран. Поэтому женщина не способна еще к дружбе: она знает только любовь.



И остерегайся также приступов своей любви! Слишком скоро протягивает одинокий руку тому, кто с ним повстречается.

У того, кто хочет быть совсем справедливым, даже ложь обращается в любовь к человеку.

Любовь — это факел, который должен светить вам на высших путях.

Горечь содержится в чаше даже лучшей любви: так возбуждает она тоску по сверхчеловеку, так возбуждает она жажду в тебе, созидающем!

Надо перестать позволять себя есть, когда находят тебя

особенно вкусным, — это знают те, кто хотят, чтобы их долго любили.

Вверх идет наш путь, от рода к другому роду, более высокому. Но ужасом является для нас вырождающееся чувство, которое говорит: «все для меня».

Всякая великая любовь выше всего своего сострадания: ибо то, что она любит, она еще хочет — создать!

Любовь к *одному* есть варварство: ибо она осуществляется в ущерб всем остальным. Также и любовь к Богу.

Открытие взаимности собственно должно бы было

отрезвлять любящего относительно любимого им существа. «Как? даже любить тебя — это довольно скромно? Или довольно глупо? Или — или».

Часто чувственность перегоняет росток любви, так что корень остается слабым и легко вырывается.

Любовь обнаруживает высокие и скрытые качества любящего — то, что у него есть редкостного, исключительного: постольку она легко обманывает насчет того, что служит у него правилом.

Из человеколюбия мы иногда обнимаем первого встречного (потому что нельзя обнять всех): но имен-

но этого и не следует открывать первому встречному.

Мы не ненавидим еще человека, коль скоро считаем его ниже себя; мы ненавидим лишь тогда, когда считаем его равным себе или выше себя.

И вы, утилитаристы, вы тоже любите все utile как *экипаж* ваших склонностей — и вы находите в сущности невыносимым стук его колес?

В конце концов мы любим наше собственное вожделение, а не предмет его.

Друг, все, что ты любил, разочаровало тебя: разочарование стало вконец твоей

привычкой, и твоя последняя любовь, которую ты называешь любовью к «истине», есть, должно быть, как раз любовь — к разочарованию.

Те, кто до сих пор больше всего любили человека, всегда причиняли ему наисильнейшую боль; подобно всем любящим, они требовали от него невозможного.

Если ты прежде всего и при всех обстоятельствах не внушаешь страха, то никто не примет тебя настолько всерьез, чтобы в конце концов полюбить тебя.

Чем свободнее и сильнее индивидуум, тем *взыскательнее* становится его любовь;

наконец, он жаждет стать сверхчеловеком, ибо все прочее не *утоляет* его любви.

Что знаете вы о том, как сумасшедший любит разум, как лихорадящий любит лед!

Культивируя месть, пришлось бы отучиться и от благодарности,— но не и от любви.

И глубокая ненависть есть идеалистка: делаем ли мы при этом из нашего противника бога или дьявола, в любом случае мы оказываем ему этим слишком много чести.

Когда мы пресыщаемся собой и не в силах больше

любить себя, то следует в порядке профилактики посоветовать любовь к ближнему: в той мере, в какой ближние мигом вынудят нас *уверовать* в то, что и мы «стоим любви».

Непрерывно упражняясь в искусстве выносить всякого рода ближних, мы бессознательно упражняемся выносить самих себя,— что, по сути, является самым непонятным достижением человека.

«Возлюби ближнего своего» — это значит прежде всего: «Оставь ближнего своего в покое!» И как раз эта деталь добродетели связана с наибольшими трудностями.

Даже когда народ пятится, он гонится за идеалом — и верит всегда в некое «вперед».

Убожество в любви охотно маскируется отсутствием *достойного* любви.

Безусловная любовь включает также страстное желание быть истязуемым: тогда она изживается вопреки самой себе, и из готовности отдаться превращается под конец даже в желание самоуничтожения: «Утони в этом море!»

Желание любить выдает утомленность и пресыщенность собою; желание быть любимым, напротив,— тоску

по себе, себялюбие. Любящий раздаривает себя; тот, кто хочет стать любимым, стремится получить в подарок самого себя.

Любовь — *плод послушания:* но расположение полов часто оказывается между плодом и корнем, а плод самой любви — свобода.

Любовь к жизни — это почти противоположность любви к долгожительству. Всякая любовь думает о мгновении и вечности,— но *никогда* о «продолжительности».

Дать своему аффекту имя — значит уже сделать шаг за пределы аффекта.

Глубочайшая любовь, например, не умеет назвать себя и, вероятно, задается вопросом: «не есть ли я ненависть?»

Немного раздражения вначале — и вслед за этим большая любовь? Так от трения спички происходит взрыв.

Жертвы, которые мы приносим, доказывают лишь, сколь «незначительной делается для нас любая другая вещь, когда мы *любим* нечто.

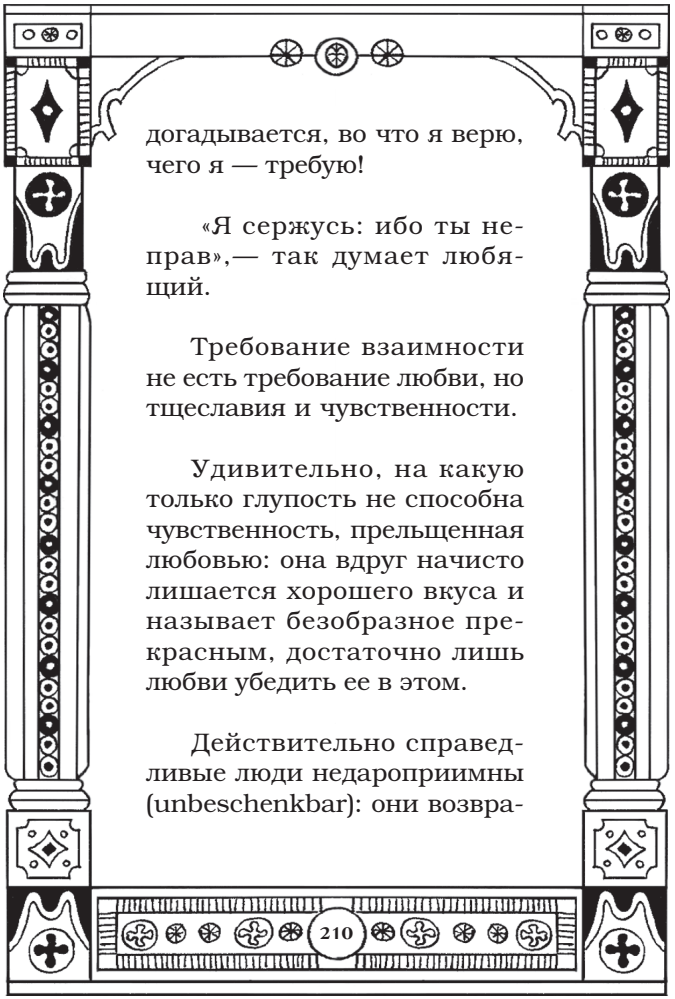
Не через взаимную любовь прекращается несчастье неразделенной любви, но через большую любовь.

Не то, что мешает нам быть любимыми, а то, что мешает нам любить полностью, ненавидим мы больше всего.

Гордость внушает злополучно влюбленному, что возлюбленная его нисколько не заслуживает того, чтобы быть любимой им. Но более высокая гордость говорит ему: «Никто не заслуживает того, чтобы быть любимым,— ты лишь недостаточно любишь ее!»

Моя любовь вызывает страх, она столь взыскательна! Я не могу любить, не веря в то, что любимый мною человек предназначен совершить нечто бессмертное. А он

Убожество в любви охотно маскируется отсутствием достойного любви.



догадывается, во что я верю, чего я — требую!

«Я сержусь: ибо ты неправ»,— так думает любящий.

Требование взаимности не есть требование любви, но тщеславия и чувственности.

Удивительно, на какую только глупость не способна чувственность, прельщенная любовью: она вдруг начисто лишается хорошего вкуса и называет безобразное прекрасным, достаточно лишь любви убедить ее в этом.

Действительно справедливые люди недароприимны (unbeschenkbar): они возвра-

щают все обратно. Оттого у любящих они вызывают отвращение.

Всегда возвращать обратно: не принимать никаких даров, кроме как в *вознаграждение* и в знак того, что мы по ним *узнаем* действительно любящих и возмещаем это *нашей любовью.*

Ревность — остроумнейшая страсть и тем не менее все еще величайшая глупость.

Самец жесток к тому, что он любит,— не из злобы, а из того, что он слишком бурно ощущает себя в любви и начисто лишен какого-либо чувства к чувству другого.

Женщина не хочет признаваться себе, насколько она любит в своем возлюбленном мужчину (именно мужчину): оттого обожествляет она «человека» в нем — перед собой и другими.

Стендаль цитирует как закулисную сентенцию: «Никто не хочет ее задаром: оттого вынуждена она продаваться!»

Не путайте: актеры гибнут от недохваленности, настоящие люди — от недолюбленности.

Так называемые любезники умеют давать нам сдачу и с мелочи любви.

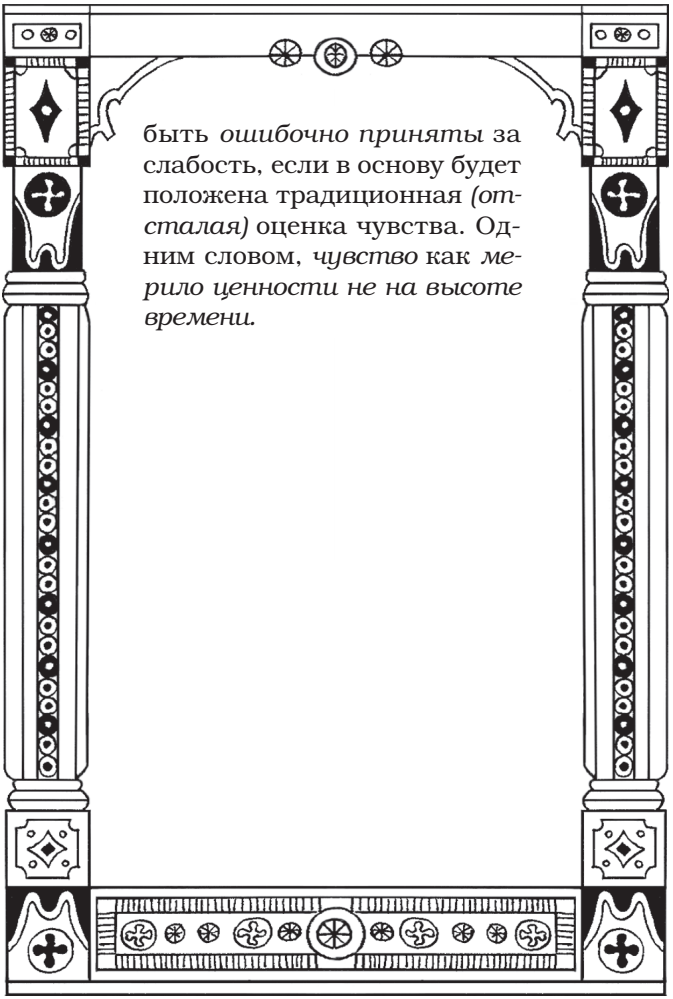
Любовь есть опасность для самого одинокого; любовь ко всему, если только оно живое.

От всего сердца любят только свое дитя и свое дело; и где есть великая любовь к самому себе, там служит она признаком беременности.

На земле есть много хороших изобретений, из них одни полезны, другие приятны; ради них стоит любить землю.

Всякая великая любовь *хочет* не любви: она хочет большего.

Признаки силы, достигнутой зрелости могли бы



быть *ошибочно приняты* за слабость, если в основу будет положена традиционная *(отсталая)* оценка чувства. Одним словом, *чувство* как *мерило ценности не на высоте времени.*

КАРГА ТА «ИСТИНОЙ» ЗВАЛАСЬ

Врач, исцелись сам, и ты исцелишь также и своего больного. Было бы лучшей помощью для него, чтобы увидел он своими глазами того, кто сам себя исцеляет.

Душное сердце и холодная голова — где они встречаются, там возникает ураган, который называют «избавлением».

Другие гордятся своей горстью справедливости и во имя ее совершают преступление против всего — так что мир тонет в их несправедливости.

То, о чем молчал отец, начинает говорить в сыне; и

часто находил я в сыне обнаруженную тайну отца.

Кто постоянно дарит, тому грозит опасность потерять стыд; кто постоянно раздает, у того рука и сердце натирают себе мозоли от постоянного раздавания.

Чтобы сильнейшему служил более слабый — к этому побуждает его воля его, которая хочет быть господином над еще более слабым: лишь без этой радости не может он обойтись.

Все замолчанные истины становятся ядовитыми.

«Я это сделал»,— говорит моя память. «Я не мог этого сделать»,— говорит моя гор-

дость и остается непреклонной. В конце концов память уступает.

Своими принципами мы хотим либо тиранизировать наши привычки, либо оправдать их, либо заплатить им дань уважения, либо выразить порицание, либо скрыть их; очень вероятно, что двое людей с одинаковыми принципами желают при этом совершенно различного в основе.

Ужасно умереть в море от жажды. Уж не хотите ли вы так засолить вашу истину, чтобы она никогда более не утоляла жажды?

Инстинкт.— Когда горит дом, то забывают даже об

обеде.— Да — но его наверстывают на пепелище.

Кому не приходилось хотя бы однажды жертвовать самим собою за свою добрую репутацию?

Бывает довольно часто, что преступнику не по плечу его деяние — он умаляет его и клевещет на него.

Адвокаты преступника редко бывают настолько артистами, чтобы всю прелесть ужаса деяния обратить в пользу его виновника.

Чем абстрактнее истина, которую ты хочешь преподать, тем сильнее ты должен обольстить ею еще и чувства.

Ужасно умереть в море от жажды. Уж не хотите ли вы так засолить вашу истину, чтобы она никогда более не утоляла жажды?

Кто не умеет найти дороги к *своему* идеалу, тот живет легкомысленнее и бесстыднее, нежели человек без идеала.

Только из области чувств и истекает всякая достоверность, всякая чистая совесть, всякая очевидность истины.

Мы охладеваем к тому, что познали, как только делимся этим с другими.

Следствия наших поступков хватают нас за волосы, совершенно не принимая во внимание того, что мы тем временем «исправились».

Бывает невинность во лжи, и она служит призна-

ком сильной веры в какую-нибудь вещь.

Бесчеловечно благословлять там, где тебя проклинают.

Не существует *вечных фактов,* как не существует абсолютных истин.

Признаком высшей культуры является более высокая оценка маленьких, незаметных истин, найденных строгими методами, чем благодетельных и ослепительных заблуждений, обязанных своим происхождением метафизическим и художественным эпохам и людям.

Быть моральным, нравственным, этичным — зна-

чит оказывать повиновение издревле установленному закону или обычаю.

Кто сполна постиг учение о совершенной безответственности, тот совсем не может подвести так называемую карающую и вознаграждающую справедливость под понятие справедливости — если последняя должна состоять в том, чтобы воздавать каждому свое.

Чем более человек склонен перетолковывать бедствие и приспособляться к нему, тем менее он способен усмотреть причины бедствия и устранить их; временное смягчение боли и наркотизация, которыми обыкновенно

пользуются, например, при зубной боли, удовлетворят его и при более серьезных страданиях.

Скорбь есть познание.

Цель, и как следствие —
Только дыра:
Хмурому — бедствие,
Дурню — игра.

Любил каргу я,
дрянь на диво,
Карга та «истиной»
звалась.

Искал ли уже когда-нибудь кто-либо на своем пути истину, как это до сих пор делал я,— противясь и переча всему, что благоприят-

ствовало моему непосредственному чувству?

Кто подвергается нападкам со стороны своего времени, тот еще недостаточно опередил его — или отстал от него.

И правдивость есть лишь одно из средств, ведущих к познанию, одна лестница,— но не *сама* лестница.

Изолгана и сама ценность познавания: познающие говорили о ней всегда в свою защиту — они всегда были слишком исключениями и почти что преступниками.

Вы, любители познания! Что же до сих пор из любви

сделали вы для познания? Совершили ли вы уже кражу или убийство, чтобы узнать, каково на душе у вора и убийцы?

Чем ближе ты к полному охлаждению в отношении всего чтимого тобою доныне, тем больше приближаешься ты и к новому разогреванию.

Это свойственное познаванию хорошее, тонкое, строгое чувство, из которого вы вовсе не хотите сотворить себе добродетели, есть цвет многих добродетелей: но заповедь «ты должен», из которой оно возникло, уже не предстает взору; корень ее сокрыт под землей.

Ах, как удобно вы пристроились! У вас есть закон и дурной глаз на того, кто только в *помыслах* обращен против закона. Мы же свободны — *что* знаете вы о муке ответственности в отношении самого себя!

В каждом поступке высшего человека ваш нравственный закон стократно нарушен.

Кто страстно взыскует справедливости, тот ощущает как облегчение и наиболее болезненный из аффектов.

Вначале ложь была моральна. *Утверждались* стадные мнения.

Правдивый человек в конце концов приходит к пониманию, что он всегда лжет.

Кому нет нужды в том, чтобы лгать, тот извлекает себе пользу из того, что он не лжет.

Можно было бы представить себе высокоморальную лживость, при которой человек осознает свое половое влечение только как *долг* зачинать детей.

Я не понимаю, к чему заниматься злословием. Если хочешь насолить кому-либо, достаточно лишь сказать о нем какую-нибудь правду.

Чарующее произведение! Но сколь нестерпимо то, что творец его всегда напоминает нам о том, что это *его* произведение.

Он научился выражать свои мысли,— но с тех пор ему уже не верят. Верят только заикающимся.

Вера в форме, неверие в содержании — в этом вся прелесть сентенции,— следовательно, моральный парадокс.

Существует гораздо больше языков, чем думают, и человек выдает себя гораздо чаще, чем ему хотелось бы. Что только не обладает речью?— Но слушателей всегда

бывает меньше, так что человек как бы выбалтывает свои признания в пустое пространство: он расточает свои «истины», подобно солнцу, расточающему свой свет.— Ну разве не досадно, что у пустого пространства нет ушей?

Чем абстрактней истина, которую намереваешься преподать, тем ревностнее следует совращать к ней *чувства.*

Наши недостатки суть лучшие наши учителя: но к лучшим учителям всегда бываешь неблагодарным.

Теперь это только эхо, через что события приобретают «величие»: эхо газет.

Предоставь миру быть миром! Не поднимай против него даже мизинца!

Учитесь смеяться над собой, как надо смеяться!

Как будто существует «истина», к которой можно было бы так или иначе *приблизиться!*

Утверждение, что *истина достигнута* и что с незнанием и заблуждением покончено,— это одно из величайших заблуждений, какие только могут быть.

Ошибки — вот что человечеству обошлось дороже всего, и в общем ошибки, проистекавшие из «доброй

воли», оказались более всего вредными. Заблуждение, которое делает счастливым, пагубнее, чем то, которое непосредственно вызывает дурные последствия. Последнее изощряет, делает недоверчивым, очищает разум, первое — усыпляет...

Заблуждение — самая дорогая роскошь, какую человек может себе позволить: но когда заблуждение является к тому же еще и физиологическим заблуждением, то оно становится опасным для жизни.

Выгоды, которых ожидали от истины, были выгодами, вытекающими из веры в нее. Ибо взятая *сама в себе* истина

могла быть весьма мучительной, вредной, роковой.

Бывают разные глаза. И сфинкс также имеет глаза, а следовательно, существует и много «истин», а следовательно, истины совсем не существует.

«Истинный мир», в каких бы формах он ни был конструирован, всегда был тем же миром явлений, взятым *еще раз.*

ЛЕСТНИЦА МОИХ ЧУВСТВ

И то, что называли вы миром, должно сперва быть создано вами: ваш разум, ваш образ, ваша воля, ваша любовь должны стать им! И поистине, для вашего блаженства, вы, познающие!

С тех пор как существуют люди, человек слишком мало радовался; лишь это, братья мои, наш первородный грех!

Но я советую вам, друзья мои: не доверяйте никому, в ком сильно стремление наказывать!

Не доверяйте всем тем, кто много говорят о своей справедливости! Поистине, их душам недостает не одного только меду.

И многие властители, желавшие ладить с народом, впрягали впереди своих коней — осленка, какого-нибудь мудреца.

Быть голодным, сильным, одиноким и безбожным — так хочет воля льва.

Быть свободным от счастья рабов, избавленных от богов и поклонения им, бесстрашным и наводящим страх, великим и одиноким, — такова воля правдивого.

Чуть было зло не ответил я ей и не сказал правды ей, рассерженной; и нельзя злее ответить, как «сказав правду» своей мудрости.

Но если я люблю мудрость и часто слишком люблю ее, то потому, что она очень напоминает мне жизнь.

Повелевать труднее, чем повиноваться. И не потому только, что повелевающий несет бремя всех повинующихся и что легко может это бремя раздавить его: попыткой и дерзновением казалось мне всякое повелевание, и, повелевая, живущий всегда рискует самим собою.

Только там, где есть жизнь, есть и воля; но это не воля к жизни, но — так учу я тебя — воля к власти!

Многое ценится живущим выше, чем сама жизнь;

но и в самой оценке говорит — воля к власти!

Кто учитель до мозга костей, тот относится серьезно ко всем вещам, лишь принимая во внимание своих учеников,— даже к самому себе.

Мудрец в роли астронома.— Пока ты еще чувствуешь звезды как нечто «над тобою», ты еще не обладаешь взором познающего.

Не сила, а продолжительность высших ощущений создает высших людей.

Гениальный человек невыносим, если не обладает при этом, по крайней мере, еще двумя качествами: чув-

ством благодарности и чистоплотностью.

Сковано сердце, свободен ум.— Если крепко заковать свое сердце и держать его в плену, то можно дать много свободы своему уму,— я говорил это уже однажды. Но мне не верят в этом, если предположить, что сами уже не знают этого.

Очень умным людям начинают не доверять, если видят их смущенными.

Нет вовсе моральных феноменов, есть только моральное истолкование феноменов.

Ты хочешь расположить его к себе? Так делай вид, что теряешься перед ним.

Воля к победе над одним аффектом в конце концов, однако, есть только воля другого или множества других аффектов.

Иметь талант недостаточно: нужно также иметь на это ваше позволение, — не так ли, друзья мои?

Насчет того, что такое «достоверность», может быть, еще никто не удостоверился в достаточной степени.

Мы не верим в глупости умных людей — какое нарушение человеческих прав!

Фамильярность человека сильнейшего раздражает, потому что за нее нель-

зя отплатить тою же монетой.

Когда ученый старой культуры дает себе клятву не иметь сношений с людьми, которые верят в прогресс, он прав.

Когда нас постигает бедствие, то его можно одолеть либо устранением его причины, либо изменением действия, которое оно оказывает на наше сознание,— т. е. истолкованием его как блага, польза которого, быть может, уяснится нам позднее.

Мастера первого ранга узнаются по тому, что они в великом, как и в малом, совершенным образом умеют

находить конец, будь это конец мелодии или мысли, будь это пятый акт трагедии или государственная акция.

После того как я узрел бушующее море с чистым, светящимся небом над ним, я не выношу уже всех бессолнечных, затянутых тучами страстей, которым неведом иной свет, кроме молнии.

Мой глаз видит идеалы других людей, и зрелище это часто восхищает меня; вы же, близорукие, думаете, что это — *мои* идеалы.

Опасность мудрого в том, что он больше всех подвержен соблазну влюбиться в неразумное.

Лестница моих чувств высока, и вовсе не без охоты усаживаюсь я на самых низких ее ступенях, как раз оттого, что часто слишком долго приходится мне сидеть на самых высоких; оттого, что ветер дудит там пронзительно и свет часто бывает слишком ярким.

Следует выжидать *свою* жажду и дать ей полностью созреть: иначе никогда не откроешь *своего* источника, который никогда не может быть источником кого-либо другого.

Я хотел быть философом *неприятных истин* — на протяжении шести лет.

Кто не живет в возвышенном, как дома, тот воспринимает возвышенное как нечто жуткое и фальшивое.

Для познающего всякое право собственности теряет силу: или же все есть грабеж и воровство.

Лишь недостатком вкуса можно объяснить, когда человек познания все еще рядится в тогу «морального человека»: как раз по нему и *видно*, что он «не нуждается» в морали.

Лишь человек делает мир мыслимым — мы все еще заняты этим: и если он его однажды понял, он чувствует, что мир отныне его *творе-*

ние — ах, и вот же ему приходится теперь, подобно всякому творцу, *любить* свое творение!

Высшее мужество познающего обнаруживается не там, где он вызывает удивление и ужас,— но там, где далекие от познания люди *воспринимают* его поверхностным, низменным, трусливым, равнодушным.

Кто *чувствует* несвободу воли, тот душевнобольной; кто *отрицает* ее, тот глуп.

Нести при себе свое золото в неотчеканенном виде связано с неудобствами; так поступает мыслитель, лишенный формул.

Мораль — это важничанье человека перед природой.

Условия существования некоего существа, поскольку они выражают себя в плане *«долженствования»,* суть его *мораль.*

Вас назовут истребителями морали: но вы лишь открыватели самих себя.

Не следует искать морали (того менее — моральности) у писателей, пишущих на моральные темы; *моралисты* в большинстве суть забитые, страдающие, бессильные, мстительные люди,— их тенденция сведена к толике счастья: больные, которые вооб-

ражают, что суть в выздоровлении.

«Серьезный», «строгий», «нравственный» — так называете вы его. Мне он кажется злым и несправедливым к себе самому, всегда готовым наказать нас за это и корчить из себя нашего палача — досадуя на то, что мы не позволяем ему этого.

Корысть и страсть связаны брачными узами; этот брак называют себялюбием — этот несчастливый брак!

К комарам и блохам не следует испытывать сострадания. Было бы правильным вздергивать на виселицу лишь мелких воришек, мелких клеветников и оскорбителей.

Естественные последствия поступка мало принимаются в расчет, поскольку в числе этих последствий фигурируют публичные наказание и поругание. Здесь пробивается великий источник всяческого верхоглядства.

Для того, кто сильно отягчен своим разумом, аффект оказывается отдыхом: именно в качестве неразумия.

Всегда говорят о *причинах* аффектов и называют их *поводы*.

Побороть свой аффект — значит в большинстве случаев временно воспрепятствовать его излиянию и образо-

Мораль — это важничанье человека перед природой.

вать затор, стало быть, сделать его более опасным.

Не путать *смелость и чувство достоинства, присущие самолюбию,* с органически присущей смелостью: это — принуждение, при котором терпишь немалый *ущерб* в собственной одаренности.

Каждый поступок продолжает созидать *нас* самих, он ткет наше пестрое одеяние. Каждый поступок свободен, но одеяние необходимо. Наше *переживание* — вот наше одеяние.

Только человек сопротивляется направлению гравитации: ему постоянно хочется падать — *вверх.*

Наиболее вразумительным в языке является не слово, а тон, сила, модуляция, темп, с которыми проговаривается ряд слов,— короче, музыка за словами, страсть за этой музыкой, личность за этой страстью: стало быть, все то, что не может быть *написано.* Посему никаких дел с писательщиной.

Первое, что необходимо здесь, есть *жизнь:* стиль должен *жить.*

Прежде чем быть вправе писать, следует точно знать: «это я высказал бы и *исполнил бы* таким-то и таким-то образом». Писание должно быть только подражанием.

Поскольку пишущему *недостает* множества *средств* исполнителя, ему надлежит в общем запастись неким образцом *весьма выразительного* способа исполнения; отражение этого, написанное, неизбежно окажется уже намного более блеклым (и для тебя более естественным).

Такт хорошего прозаика в том, чтобы *вплотную* подступаться к поэзии, но *никогда* не переступать черты. Без тончайшего чувства и одаренности в самом поэтическом невозможно обладать этим тактом.

Предупреждать легкие возражения читателя — не-

учтиво и неблагоразумно. Большой учтивостью и *большим благоразумием* было бы — предоставить читателю *самому высказать* последнюю квинтэссенцию нашей мудрости.

Этим конституционным монархам вручили добродетель: с тех пор они не могут больше «поступать несправедливо»,— но для этого у них и отняли власть.

Хоть бы Европа в скором времени породила *великого* государственного мужа, а тот, кто нынче, в мелочную эпоху плебейской близорукости, чествуется как «великий реалист», пусть пользуется *мелким авторитетом.*

Не давайте себя обманывать! Самые деятельные народы несут в себе наибольшую усталость, их беспокойство есть слабость,— в них нет достаточного содержания, чтобы ждать и лениться.

В Германии гораздо больше чтут желание, нежели умение: это самый подходящий край для несовершенных и претенциозных людей.

Воля есть созидательница.

Моя вторая человеческая мудрость в том, что больше щажу я *тщеславных,* чем гордых.

Кто должен двигать горами, тот передвигает также долины и низменности.

Кто из вас может одновременно смеяться и быть высоко?

Кто поднимается на высочайшие горы, тот смеется над всякой трагедией сцены и жизни.

Мужество — лучшее смертоносное оружие,— мужество нападающее: ибо в каждом нападении есть победная музыка.

Человек же — самое мужественное животное: этим победил он всех животных. Победной музыкой преодолел он всякое страдание; а человеческое страдание — самое глубокое страдание.

Сколько вижу я доброты, столько и слабости. Сколько

справедливости и сострадания, столько и слабости.

Моя самая любимая злоба и искусство в том, чтобы мое молчание научилось не выдавать себя молчанием.

Властолюбие: но кто назовет его *любием*, когда высокое стремится вниз к власти! Поистине, нет ничего больного и подневольного в такой прихоти и нисхождении.

Человек есть мост, а не цель; он радуется своему полдню и вечеру как пути, ведущему к новым утренним зорям.

Наслаждение и невинность — самые стыдливые

вещи: они не хотят, чтобы искали их. Их надо иметь, — но искать надо скорее вины и страдания!

И многие изобретения настолько хороши, что являются, как грудь женщины,— одновременно полезными и приятными.

Когда идешь к какой-нибудь цели, то кажется невозможным, чтобы «бесцельность как таковая» была твоим основным догматом.

Все равно, ничто не вознаграждается, знание душит.

Возносите сердца ваши, братья мои, выше, все выше!

Чем совершеннее вещь, тем реже она удается.

Я учу говорить *нет* всему, что ослабляет,— что истощает...

Я учу говорить *да* всему, что усиливает, что накопляет силы, что оправдывает чувство силы.

До сих пор никто не учил ни тому, ни другому: учили добродетели, самоотречению, состраданию, учили даже отрицанию жизни. Все это суть ценности истощенных.

Мораль ограждала *неудачников, обездоленных* от нигилизма, приписывая *каждому* бесконечную ценность, метафизическую ценность, и указуя им место в

порядке, не совпадающем ни с мирской властью, ни с иерархией рангов: она учила подчинению, смирению и т. д. *Если предположить, что вера в эту мораль погибнет,* то неудачники утратят свое утешение — и *погибнут.*

Против учения о влиянии *среды* и внешних причин — внутренняя сила бесконечно *важнее;* многое, что представляется влиянием извне, в сущности есть только приспособление этой внутренней силы к окружающему. Совершено тождественные среды могут получить прямо противоположное толкование и быть использованы в противоположном смысле: фактов не существует. Гений не мо-

жет быть объяснен из подобных условий возникновения.

Движение вперед к *«естественности»:* во всех политических вопросах, также и во взаимоотношении партий, даже меркантильных, рабочих или работодательских партий — дело идет *о вопросах мощи:* «что я *могу»* — и лишь затем, как вторичное: «что я *должен».*

Творить — значит выбирать и сообщать законченную форму избранному. (Во всяком волевом акте существенным является именно *это).*

Все, что делается с известной целью, может быть сведено *к цели умножения власти.*

НА КРАЮ БЕЗДНЫ

Кто пишет кровью и притчами, тот хочет, чтобы его не читали, а заучивали наизусть.

Вы смотрите вверх, когда вы стремитесь подняться. А я смотрю вниз, ибо я поднялся.

Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Холодно лжет оно; и эта ложь ползет из уст его: «Я, государство, есмь народ».

Где еще существует народ, не понимает он государства и ненавидит его, как дурной глаз и нарушение обычаев и прав.

Но государство лжет на всех языках о добре и зле: и что оно говорит, оно лжет — и что есть у него, оно украло.

Смешение языков в добре и зле: это знамение даю я вам как знамение государства. Поистине, волю к смерти означает это знамение! Поистине, оно подмигивает проповедникам смерти.

Государством зову я, где все вместе пьют яд, хорошие и дурные; государством, где все теряют самих себя, хорошие и дурные; государством, где медленное самоубийство всех — называется — «жизнь».

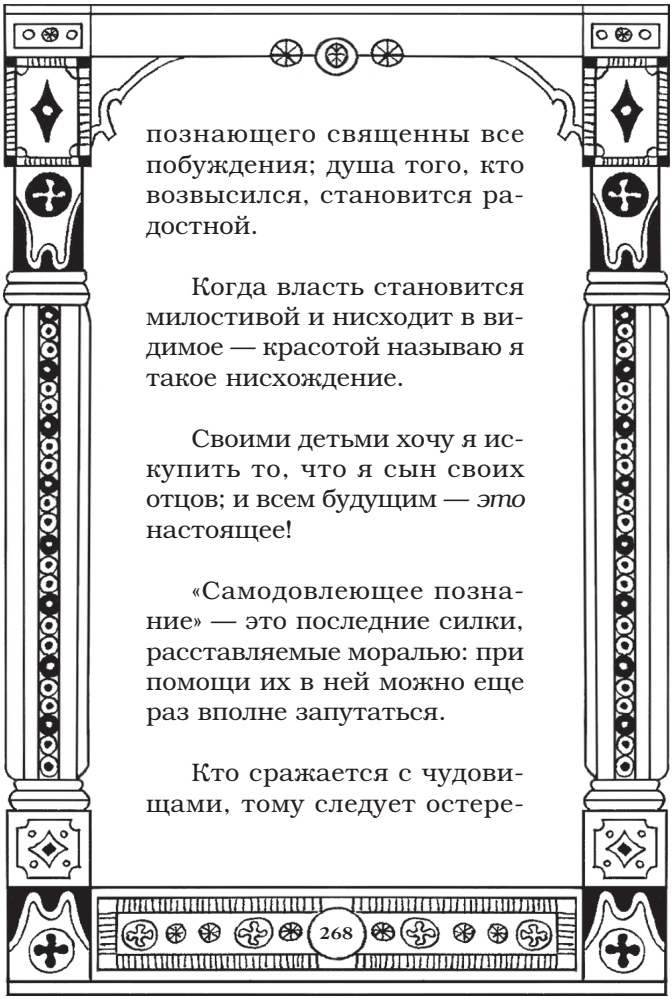
Зверям принадлежит невинность.

Разделенная с другими несправедливость есть уже половина справедливости. И тот должен взять на себя несправедливость, кто может нести ее!

Даже самый пустой орех хочет еще, чтобы его разгрызли.

Да послужат ваш дух и ваша добродетель, братья мои, смыслу земли: ценность всех вещей да будет вновь установлена вами! Поэтому вы должны быть борющимися! Поэтому вы должны быть созидающими!

Познавая, очищается тело; делая попытку к познанию, оно возвышается; для



познающего священны все побуждения; душа того, кто возвысился, становится радостной.

Когда власть становится милостивой и нисходит в видимое — красотой называю я такое нисхождение.

Своими детьми хочу я искупить то, что я сын своих отцов; и всем будущим — *это* настоящее!

«Самодовлеющее познание» — это последние силки, расставляемые моралью: при помощи их в ней можно еще раз вполне запутаться.

Кто сражается с чудовищами, тому следует остере-

гаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.

Возражение, глупая выходка, веселое недоверие, насмешливость суть признаки здоровья: все безусловное принадлежит к области патологии.

Понимание трагического ослабевает и усиливается вместе с чувственностью.

Безумие единиц — исключение, а безумие целых групп, партий, народов, времен — правило.

По отношению ко всякой партии.— Пастуху нужен

всегда баран-передовик, чтобы самому при случае не становиться бараном.

Проблема науки не может быть познана на почве науки.

В чем могла бы иметь свои корни трагедия? Быть может, в *удовольствии,* в силе, в бьющем через край здоровье, в преизбытке полноты?

Историческое явление, всесторонне познанное в его чистом виде и претворенное в познавательный феномен, представляется для того, кто познал его, мертвым: ибо он узнал в нем заблуждение, несправедливость,

слепую страсть и вообще весь темный земной горизонт этого явления и вместе с тем научился видеть именно в этом его историческую силу.

История, поскольку она сама состоит на службе у жизни, подчинена неисторической власти и потому не может и не должна стать, ввиду такого своего подчиненного положения, чистой наукой вроде, например, математики.

Итак, история принадлежит тому, кто охраняет и почитает прошлое, кто с верностью и любовью обращает свой взор туда, откуда он появился, где он стал тем, что

он есть; этим благоговейным отношением он как бы погашает долг благодарности за самый факт своего существования.

Так как мы непременно должны быть продуктами прежних поколений, то мы являемся в то же время продуктами и их заблуждений, страстей и ошибок и даже преступлений, и невозможно совершенно оторваться от этой цепи.

Историю могут вынести только сильные личности, слабых же она совершенно подавляет.

История пишется только испытанными и выдающимися умами.

Историческая справедливость даже тогда, когда она неподдельна и проистекает из чистого сердца, есть ужасная добродетель, потому что она постоянно подкапывается под живое и приводит его к гибели: суд ее всегда разрушителен.

История должна сама разрешить проблему истории.

Все философы обладают тем общим недостатком, что они исходят из современного человека и мнят прийти к цели через анализ последнего.

Кто открыл бы нам сущность мира, тот причинил бы

нам всем самое неприятное разочарование. Не мир как вещь в себе, а мир как представление (как заблуждение) столь значителен, глубок, чудесен и несет в своем лоне счастье и несчастье.

Можно обещать действия, но никак не чувства: ибо последние непроизвольны. Кто обещает кому-либо всегда любить его, или всегда ненавидеть, или оставаться всегда верным, тот обещает нечто, что не находится в его власти; но, конечно, он может обещать такие действия, которые хотя обычно являются следствиями любви, ненависти, верности, но могут проистекать и из других мотивов: ибо к одному и тому

же действию ведут многие пути и мотивы.

Я приветствую все знамения того, что зачинается более мужественная, воинственная эпоха, которая прежде всего наново воздаст почести отваге!

Мое сильнейшее свойство — самопреодоление. Но оно же по большей части оказывается и моей нуждой — я всегда стою на краю бездны.

Из всех европейцев, живущих и живших,— Платон, Вольтер, Гёте — я обладаю душой *самого широкого диапазона.* Это зависит от обстоятельств, связанных не столько со мной, сколько с

«сущностью вещей»,— я мог бы стать *Буддой* Европы: что, конечно, было бы антиподом индийского.

Одиннадцать двенадцатых всех великих людей истории были лишь представителями какого-то великого дела.

Если имеешь счастье оставаться темным, то можешь воспользоваться и льготами, предоставляемыми темнотой, и в особенности «болтать всякое».

В стадах нет ничего хорошего, даже когда они бегут вслед за тобою.

Когда спариваются скепсис и томление, возникает *мистика.*

Чья мысль хоть раз переступала мост, ведущий к мистике, тот не возвращается оттуда без мыслей, не отмеченных стигматами.

Вера в причину и следствие коренится в сильнейшем из инстинктов: в инстинкте мести.

Совершенное познание необходимости устранило бы всякое «долженствование»,— но и постигло бы необходимость «долженствования», как следствие *незнания.*

Мораль нынче увертка для лишних и случайных людей, для нищего духом и силою отребья, которому не *следовало бы* жить,— мо-

раль, поскольку милосердие; ибо она говорит каждому: «ты все-таки представляешь собою нечто весьма важное»,— что, разумеется, есть ложь.

Право на новые собственные *ценности* — откуда возьму я его? Из права всех старых ценностей и границ этих ценностей.

«Послушание» и «закон» — это звучит из всех моральных чувств. Но «произвол» и «свобода» могли бы стать еще, пожалуй, последним звучанием морали.

Чтобы понадобился тормоз, необходимо прежде всего колесо! Добрые суть тор-

моз: они сдерживают, они поддерживают.

У воров, разбойников, ростовщиков и спекулянтов себялюбие, в сущности, обнаруживается достаточно непритязательным и скромным образом: нелегко желать от людей меньшего, чем когда желаешь только их денег.

Причислять к морали (или даже считать за саму мораль) сострадание и деликатность чувства в отношении ближних есть признак тщеславия, если *предположить*, что по натуре сам являешься сострадательным и деликатным,— стало быть, недостаток гордости и благородства души.

Мое направление в *искусстве:* продолжать творить не там, где пролегают *границы,* но там, где простирается *будущее* человека! Необходимы *образы,* по которым можно будет *жить!*

Красота *тела* — слишком *«поверхностно»* понималась она художниками: за этой поверхностной красотой должна была бы воспоследовать красота всего строения организма,— в этом отношении высочайшие образы *стимулируют сотворение прекрасных личностей:* это и есть смысл искусства,— кто чувствует себя пристыженным в его присутствии, того оно делает *недовольным,* и охочим до творчества того, кто дос-

таточно силен. Следствием *драмы* бывает: «И я хочу быть, как этот герой» — стимулирование творческой, обращенной на нас самих силы!

Умолканье перед прекрасным есть глубокое *ожидание, вслушивание* в тончайшие, отдаленнейшие тона — мы ведем себя подобно человеку, который весь обращается в слух и зрение: красота имеет *нам нечто сказать, поэтому* мы *умолкаем* и не думаем ни о чем, *о чем мы обычно думаем.* Тишина, присущая каждой созерцательной, терпеливой натуре, есть, стало быть, некая *подготовка, не больше!* Так обстоит со всякой контемпляцией: эта

утонченная податливость и расслабленность, эта гладкость; в высшей степени чувствительная, уступчивая в отношении нежнейших впечатлений.

А как же *внутренний покой, чувство удовлетворенности, отсутствие напряжения?* Очевидно, здесь имеет место некое весьма *равномерное излияние нашей силы:* мы как бы *приспосабливаемся* при этом к высоким колоннадам, по которым мы бродим, и сообщаем своей душе такие движения, которые сквозь покой и грацию суть *подражания* тому, что мы видим. Словно бы некое благородное общество вдохновляло нас на благородные жесты.

Лишь теперь брезжит человеку, что музыка — это символический язык аффектов: а впоследствии научатся еще отчетливо узнавать систему влечений музыканта из его музыки. Он, должно быть, и не подозревал, что *выдает себя тем самым.* Такова *невинность* этих добровольных признаний, в противоположность всем литературным произведениям.

Если бы богине Музыке вздумалось говорить не тонами, а словами, то пришлось бы заткнуть себе уши.

В современной музыке дано звучащее единство религии и чувственности и, стало быть, больше женщи-

ны, чем когда-либо в прежней музыке.

Вагнер не испытывал недостатка в благодеяниях со стороны своих современников, но ему казалось, что принципиальная несправедливость по отношению к благодетелям принадлежит к «большому стилю»: он жил всегда, как актер и в плену у иллюзии образования, к которому по обыкновению влекутся все актеры.

Я сам, должно быть, был величайшим его благодетелем. Возможно, что в этом случае образ переживет того, кто в нем изображен: причина этого лежит в том, что в образе, созданном мною, есть еще место для целого

множества действительных Вагнеров, и прежде всего — для гораздо более одаренных и более чистых в намерениях и целях.

Есть персоны, которые хотели бы вынудить каждого к полному приятию или отрицанию их собственной персоны,— к таковым принадлежал *Руссо:* их мучительный бред величия проистекает из их недоверия к самим себе.

Я воспринимаю как вредных всех людей, которые не могут больше быть противниками того, что они любят; они портят тем самым лучшие вещи и лучших людей.

Культура — это лишь тоненькая яблочная кожура над раскаленным хаосом.

Иной лишь после смерти делается великим — через эхо.

Когда снимают у горбатого горб его, у него отнимают и дух его — так учит народ, и когда возвращают слепому глаза его, он видит на земле слишком много дурного — так что он проклинает исцелившего его. Тот же, кто дает возможность бегать хромому, наносит ему величайший вред: ибо едва ли он сможет бежать так быстро, чтобы пороки не опережали его,— так учит народ о калеках.

Моя первая человеческая мудрость в том, что я позволяю себя обманывать, чтобы не быть настороже от обманщиков.

Самые тихие слова — те, что приносят бурю. Мысли, ступающие голубиными шагами, управляют миром.

И кто среди людей не хочет умереть от жажды, должен научиться пить из всех стаканов; и кто среди людей хочет остаться чистым, должен уметь мыться и грязной водой.

Каждый брошенный камень должен — упасть!

Не надо желать быть врачом неизлечимых.

Паразит живет там, где у великого есть израненные уголки в сердце.

Ценность всех болезненных состояний заключается в том, что они показывают как бы в увеличительное стекло известные нормальные, но в нормальном виде плохо различимые, состояния.

Все идет, все возвращается; вечно вращается колесо бытия. Все умирает, все вновь расцветает, вечно бежит год бытия.

Земля есть стол богов, дрожащий от новых творческих слов и от шума игральных костей.

Если бы богине Музыке вздумалось говорить не тонами, а словами, то пришлось бы заткнуть себе уши.

Походка обнаруживает, идет ли кто уже по пути *своему,*— смотрите, как я иду! Но кто приближается к цели своей, тот танцует.

Все зрелое — хочет умереть.

Но все незрелое хочет жить: о горе!

Знамение приближается.

Разве жизнь не состоит в желании оценивать, предпочитать, быть несправедливым, быть ограниченным, быть отличным от прочего?

У мыслителей же более сильных, более полных жизни, у мыслителей, еще жаждущих жизни, дело, кажет-

ся, обстоит иначе: являясь *противниками* кажимости (Schein) и произнося слово «перспективный» уже с высокомерием, приблизительно так же мало ценя достоверность собственного тела, как достоверность очевидности, говорящей нам, что «земля недвижима», и таким образом, по-видимому, весело выпуская из рук вернейшее достояние (ибо что же считается ныне более достоверным, чем собственное тело?),— кто знает, не хотят ли они в сущности отвоевать назад нечто такое, что некогда было еще *более верным* достоянием, нечто из старой собственности веры былых времен, быть может, «бессмертную душу», быть может, «старого Бога»,

словом, идеи, за счет которых жилось лучше, а именно, полнее и веселее, нежели за счет «современных идей»?

Воздавая напоследок должное тому огромному действию, которое произвела «немецкая философия» во всей Европе (я надеюсь, что всем понятно ее право на кавычки), не следует, однако, сомневаться, что в этом принимала участие известная virtus dormitiva; в среде благородных бездельников, добродеев, мистиков, художников, на три четверти христиан и политических обскурантов всех национальностей были очень рады иметь, благодаря немецкой философии, противоядие от все еще чрез-

мерно могучего сенсуализма, который широким потоком влился из прошлого столетия в нынешнее, словом — «sensus assoupire»...

Вся наша социология не знает другого инстинкта, кроме инстинкта стада, т. е. *суммированных нулей,*— где каждый нуль имеет «одинаковые права», где считается добродетелью быть нулем...

Мораль предохраняла от отчаяния и прыжка в «ничто» жизнь людей и сословий, притесняемых и угнетаемых именно *людьми;* ибо бессилие перед людьми, а не перед природой, вызывает наиболее отчаянное озлобление к жизни. Мораль относилась к

властителям, насильникам, вообще к «господам», как к врагам, против которых должно защитить обыкновенного человека, т. е. *прежде всего поднять в нем мужество и силу.* Мораль, следовательно, учила глубже всего *ненавидеть* и *презирать* то, что составляет характернейшую особенность властителей: их *волю к власти.*

Наше время, с его стремлением как-нибудь помочь случайным нуждам, предупредить их и вообще своевременно устранить неприятные возможности, есть время *бедных.* Наши «богатые» — вот самые бедные! Коренная *цель* всякого богатства *забыта.*

Романтическая поза современного человека — благородный человек (Байрон, Виктор Гюго, Жорж Санд); благородное негодование; освящение страстью (как подлинною «природою»); защита угнетенных и обездоленных как девиз историков и романистов; стоики долга; «самоотречение» как искусство и познание; альтруизм как наиболее изолгавщаяся форма эгоизма (утилитаризм), сентиментальный эгоизм.

Это все — восемнадцатый век. Напротив, то, чего мы от него не унаследовали, это — linsouciance, веселость, изящество, ясность ума; темп духа изменился; наслаждение духовною ясностью и тонкостью уступило место

наслаждению красками, гармонией, массой, реальностью и т. д. Сенсуализм в духовном. Словом, это восемнадцатый век Руссо.

В общем счете в нашем современном человечестве *гуманность* достигла огромных размеров. То, что это обычно не ощущается, может само по себе служить доказательством справедливости сказанного: мы стали столь чувствительны к *мелким невзгодам*, что проявляем несправедливость в оценке достигнутого нами.

Куда можно отнести наш современный мир: к эпохам истощения или эпохам восхождения? — Его многообра-

зие и беспокойность обусловлены высшей формой *сознательности.*

Высшие точки подъема культуры и цивилизации не совпадают: не следует обманываться в вопросе о глубочайшем антагонизме между культурой и цивилизацией. Великие моменты культуры всегда были, морально говоря, эпохами испорченности; и с другой стороны, эпохи преднамеренного и насильственного *укрощения зверя-человека* (цивилизации) были временами нетерпимости по отношению к наиболее духовным и наиболее смелым натурам. Цивилизация желает чего-то другого, чем культура: быть

может даже чего-то прямо противоположного.

Общее в истории Европы со времен *Сократа* есть попытка обеспечить за *моральными ценностями* господство над всеми другими видами ценностей, так чтобы они были руководителями, судьями не только жизни, но также и 1) познания, 2) искусств, 3) государственных и общественных стремлений.

Мир, взятый независимо от нашего условия, а именно возможности в нем жить, мир, который *не* сведен нами на наше бытие, нашу логику и наши психологические предрассудки, такой мир, как мир «в себе», *не* существу-

ет; он по существу мир отношений: действительный мир имеет, при известных обстоятельствах, с каждой точки свой *особый вид;* его бытие существенно различно в каждой точке; он давит на каждую точку, ему противодействует каждая точка — и эти суммирования в каждом отдельном случае совершенно не совпадают.

Думать, что мы что-то познали там, где у нас есть математическая формула для процессов, есть иллюзия: здесь только нечто *обозначено, описано,*— не более.

Закона нет: каждая власть в каждый данный момент развивается до после-

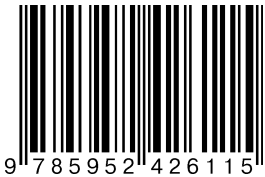
дних своих пределов. Именно на том, что иначе быть не может, покоится возможность вычисления.

СОДЕРЖАНИЕ

Мартьянова Л.М. Извилист путь великих 5

Сердце здесь мужчина, а голова — женщина 7
Живите, воюя с равными 29
Я жаждал людей 73
Кожа души 109
Все добро и все зло 143
Творим людей по подобию нашего Бога 173
Росток любви 195
Карга та «истиной» звалась 215
Лестница моих чувств 235
На краю бездны 263

ISBN 978-5-9524-2611-5



ИЗРЕЧЕНИЯ И АФОРИЗМЫ Ф. НИЦШЕ

Злая мудрость

Составитель Л.М. Мартьянова

Ответственный за выпуск *Л.И. Янцева*
Художественный редактор *И.А. Озеров*
Редактор *Л.М. Мартьянова*
Технический редактор *С.И. Гришин*
Компьютерная верстка *С.Р. Беляева*
Корректор *И.А. Мудрова*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 23.11.2006.
Формат 70×100 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура «Bookman».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,35.
Тираж 4 000 экз. Заказ №

ЗАО «Центрполиграф»
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15
E-MAIL: CNPOL@DOL.RU

WWW.CENTRPOLIGRAF.RU

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ЦЕНТРПОЛИГРАФ

Книга-почтой

Если вы желаете приобрести книги издательства «Центрполиграф» без торговой наценки, то можете воспользоваться услугами отдела «Книга-почтой»

Все книги будут рассылаться наложенным платежом без предварительной оплаты. Заказы принимаются на отдельные книги, а также на целые серии, выпускаемые нашим издательством. В последнем случае вы будете регулярно получать по 2 новых книги выбранной серии в месяц.

Для этого вам нужно только заполнить почтовую карточку по образцу и отправить по адресу:

111024, Москва, а/я 18, «Центрполиграф»

Также вы можете заказать книги через сайт издательства «Центрполиграф» — www.centrpoligraf.ru

КАРТОЧКА ПОЧТОВАЯ

В РОССИЯ

От кого Ивановой Г.П.

Откуда г. Хабаровск, ул. Мира, д. 10. кв. 5

Индекс места отправления 680011

Кому «Центрполиграф»

Куда г. Москва, а/я 18

Индекс места назначения 111024

111024

ПОЧТА РОССИИ

Подделка государственных знаков почтовой оплаты преследуется по закону © Издательство «Марка» Минсвязи России. 2003. З. 179440. ПФГ

На обратной стороне открытки необходимо указать, какую книгу вы хотели бы получить или на какую из серий хотели бы подписаться. Укажите также требуемое количество экземпляров каждого названия.

Стоимость пересылки почтового перевода наложенным платежом оплачивается отделению связи и составляет 10—20% от стоимости заказа.

Книги оплачиваются при получении на почте.

К сожалению, издательство не может долго удерживать объявленные цены по не зависящим от него причинам, в связи с общей ситуацией в стране. Надеемся на ваше понимание.

МЫ РАДЫ ВАШИМ ЗАКАЗАМ!

Действительно низкие цены!
Регулярные распродажи!
Предварительные заказы и оповещение по телефону о поступлении новинок!

Фирменные магазины издательства «Центрполиграф»

предлагают более 3000 наименований книг различных жанров зарубежных и отечественных авторов: детектив, исторический, любовный, приключенческий роман, фантастика, фэнтези, научно-популярная, биографическая, документально-криминальная литература, издания для детей и юношества, филателистические каталоги, книги по кулинарии, кинологии, о звездах театра, кино, эстрады, а также энциклопедии, словари, решебники.

Звоните и приезжайте!

МОСКВА — ул. Октябрьская, д. 18
тел. для справок: (495) 684-49-89,
мелкооптовый отдел: *тел. (495) 684-49-68; пн—пт — 10.00—19.00, сб —10.00—17.00,*
курьерская доставка книг по Москве.

РОСТОВ-НА-ДОНУ — Привокзальная пл., д. 1/2
тел. (8632) 38-38-02; пн—пт —9.00—18.00.

Официальный дистрибьютор издательства ООО "АТОН"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — *Набережная р. Фонтанки, д. 64, помещение 7-н, тел. для справок: (812) 575-52-80, (812) 575-52-81. Пн—пт — 9.00—18.30, сб, вскр — выходной. E-mail: aton@ppp.delfa.net.*